

# ЛАРИСА РЕЙСНЕР

## АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН

Вступительная статья и публикация

А. И. Наумовой и Г. А. Пржеборовской

Характеристика источников публикации составлена Т. Г. Динесман

Примечания Н. А. Такташевой

Литературное наследие Ларисы Михайловны Рейснер — одного из зачинателей советской литературы — невелико. Ведь творческий путь ее был недолг: в 1912 г. она впервые выступила в печати, а в феврале 1926 г. Ларисы Рейснер не стало — она прожила немногим более тридцати лет.

Почти все написанное ею Рейснер опубликовала еще при жизни. Впоследствии основные сочинения ее были собраны и неоднократно переиздавались<sup>1</sup>. Однако в архиве писательницы, ныне хранящемся в Гос. библиотеке СССР им. В. И. Ленина, находятся некоторые творческие материалы, не увидевшие света, и среди них — фрагменты неоконченного романа, публикуемого ниже<sup>2</sup>.

Роман построен на автобиографической основе: образ его героини явно autobiографичен, в ряде персонажей без труда угадываются лица из семейного и литературного окружения автора, а большая часть сохранившегося текста — два фрагмента (из трех) — повествует об истории журнала «Рудин», который в 1915—1916 гг. Рейснер издавала вместе со своим отцом<sup>3</sup>. Третий фрагмент невелик — всего два листа, оторвавшихся от утерянной рукописи; действие его происходит в конце 1919 г.

Работу над романом Рейснер начала в 1919 г.<sup>4</sup> К этому времени в ее творческом активе числились две миниатюрные книжечки о женских типах Шекспира, героико-романтическая драма «Атлантида», а также стихи, рецензии и критические статьи, напечатанные в дореволюционных периодических изданиях<sup>5</sup>. Был у нее уже и немалый общественно-политический опыт. Летом 1917 г. Рейснер работала в Петроградской межклубной комиссии, в Комиссии по делам искусств при Исполкоме Советов рабочих и солдатских депутатов, выступала с публицистическими очерками в газете «Новая жизнь». В первые же дни Октября она решительно стала на сторону революции и приняла деятельное участие в строительстве новой культуры, включившись в работу по учету и охране музеиных ценностей и изданию классиков русской литературы<sup>6</sup>. В 1918 г. Рейснер вступила в Коммунистическую партию и летом того же года получила назначение на Восточный фронт; здесь она стала комиссаром разведывательного отряда штаба 5-ой армии и принимала участие в боевых операциях Волжско-Камской флотилии<sup>7</sup>. Она «неизменно находилась на передовой линии огня (...), — вспоминает современник. — Ее смелость, стойкость, умелый подход к морякам, острое, всегда находчивое, точное слово, вдохновенные, задушевные беседы с моряками находили путь к их сердцам, — она пользовалась среди них большим авторитетом»<sup>8</sup>.

Рейснер обладала на редкость острым гражданским самосознанием и темпераментом. Эти качества в полной мере проявились в ее литературной деятельности той поры. С осени 1918 г. в газете «Известия» печатались ее «Письма с фронта», впоследствии объединенные в книгу «Фронт. 1918—1920 г.» (М., 1924). Эти «письма» — правдивый и страстный рассказ о трагических буднях войны, о людях, ковавших победу Революции.

В декабре 1918 г. Рейснер была назначена комиссаром Генерального штаба Военно-морского флота Республики и в этой должности оставалась до июня 1919 г.; все это время она жила сначала в Петрограде, затем (с февраля) — в Москве<sup>9</sup>. С июня 1919 г. до середины 1920 г. Рейснер снова на фронте и в течение года (с небольшим перерывом зимой 1919—1920 гг., когда она приезжала в Москву) участвует в боевых действиях Волжско-Каспийской флотилии; с 31 июля 1920 г. она — сотрудник Политуправления Балтийского флота, а в марте 1921 г. в составе советского посольства на два года уезжает в Аф-

ганистан<sup>10</sup>. И почти все это время — на протяжении трех лет (1919—1921) — она пользуется каждой возможностью, чтобы продолжить работу над задуманным ею романом, главным образом над теми его главами, которые посвящены истории «Рудина»<sup>11</sup>.

Почему же, занятая столь животрепещущими военными и политическими задачами, писательница упорно возвращается к годам, предшествовавшим Октябрю, и к событиям, связанным с журналом «Рудин»? Ответить на этот вопрос позволяет внимательное чтение текста романа, а также писем Рейснер, относящихся к периоду работы над ним. Но прежде чем обратиться к этим источникам, необходимо напомнить те основные вехи в жизни семьи Рейснеров, которые подготовили их к намерению издавать журнал, необходимо представить себе характер этого журнала, роль «Рудина» в творческой биографии Ларисы Рейснер и его место на том пути, который привел ее в стан Революции.

Отец писательницы — Михаил Андреевич Рейснер (1868—1928), социолог и правовед, — в 1898—1903 гг. был профессором Томского университета. В ту пору его представления об историческом прогрессе связывались с надеждами на союз «просвещенного абсолютизма», церкви и «верующей личности», что нашло отражение в его трудах по вопросам государственного права<sup>12</sup>. Тем не менее Рейснер был по доносу обвинен в «возмутительной пропаганде», которую якобы вел с кафедры, и в начале 1903 г. вынужден был подать в отставку. Тогда же он вместе с семьей эмигрировал за границу, где сблизился с русскими политэмигрантами и германскими социал-демократами, в частности, с А. Бебелем и К. Либкнехтом<sup>13</sup>. Большое влияние на него оказало знакомство с В. И. Лениным.

В 1905 г. на немецком языке вышла его брошюра «Борьба за права и свободу в России» (с предисловием А. Бебеля; русское издание — М., 1906), за ней последовал «Русский абсолютизм и свобода» (СПб., 1906). Обе книги — свидетельство тех радикальных изменений, которые претерпели взгляды Рейснера в годы эмиграции: недавние надежды на религию и самодержавие сменились сочувствием русской революции, его политические симпатии всецело склоняются на сторону большевиков<sup>14</sup>.

В 1907 г. Рейснер вернулся на родину с твердым убеждением, что дальнейшая судьба России немыслима без коренного социального переустройства. Поселившись в Петербурге, он возобновил преподавательскую деятельность — теперь уже в Петербургском университете и Психоневрологическом институте. Однако репутация «неблагонадежного» делала его положение в обоих учебных заведениях весьма шатким, а получаемый оклад был очень низок. Материальная необеспеченность влекла потопию за заработком, в результате задуманный им капитальный труд по теории государства остался незавершенным<sup>15</sup>.

Мысль об издании сатирически-оппозиционного журнала возникла у Рейснера в 1915 г., в разгар империалистической войны. Нарушить «ужасающую тишину», поднять голос против «бездействия русской жизни», против шовинистического угара и воинствующего милитаризма — таков был замысел этого издания: «Я устал жить с завязанным ртом (...), — говорит отец героини романа, объясняя свое намерение издавать журнал, — я хочу первым бросить камень в толстую, желтую рожу кого-то, кто воюет и сидит в Думе»<sup>16</sup>.

Двадцатилетняя Лариса Рейснер, полностью разделевшая взгляды отца, всем своим воспитанием была подготовлена к активной деятельности. Она стала его первой помощницей в деле издания журнала, приняла на себя большую часть трудностей, связанных с этим предприятием, и сделалаась «не только редактором, но и идейным вдохновителем» его<sup>17</sup>.

Первый номер журнала, получившего несколько неожиданное название — «Рудин», вышел в ноябре 1915 г. «На обложке красовался силуэт героя тургеневского романа с пышной шевелюрой и старомодным разлетающимся галстуком, исполненный в нарочито старомодной манере, — вспоминает Вс. Рождественский. — Это было вполне в духе эстетских вкусов буржуазной литературы и внешне как бы свидетельствовало об общей «благонадежности». Но внимательному читателю надлежало при этом иметь в виду, что красноречивый и свободолюбивый идеалист Рудин в конце концов завершил свою жизнь на баррикадах»<sup>18</sup>. Об этом недвусмысленно напоминали стихи Л. Рейснер, открывавшие первый номер журнала:

Всегда один, смешон и безрассуден,  
На баррикадах умер Рудин.

Когда-нибудь нелицемерный суд  
Окончит ненаписанные главы —  
И падших имена произнесут  
Широкие и полные октавы...<sup>19</sup>

«Трубач, который всех будит» — так назвал тургеневского Рудина А. В. Луначарский. «Это большая фигура,— утверждал он,— и в ней сосредоточивает Тургенев все положительные черты интеллигентов, которые от времен Пушкина жили в них. Все они были горнисты, все они были зорю и великолепно зажигали все вокруг себя...»<sup>20</sup> Рейснерам не могло быть известно это определение, высказанное значительно позже, но именно такую роль предназначали они своему журналу, и в этом заключался смысл избранного ими названия.

В первом же номере «Рудина» редакция декларировала свою программу: «...создание органа, который бы клеймил бичом сатиры, карикатуры и памфлета все безобразие русской жизни, где бы оно ни находилось»; вторую свою задачу редакция видела в том, чтобы «открыть дорогу молодым талантам и при их помощи прийти к установлению новых культурных ценностей»<sup>21</sup>.

Следуя этой программе, Рейснеры стремились привлечь в свой журнал литературную молодежь. Основными его сотрудниками стали студенты — члены университетского «Кружка поэтов», в который входила и сама Рейснер. Среди них были О. Э. Мандельштам, Вс. А. Рождественский, И. В. Евдокимов; был привлечен также живший в Москве Л. В. Никулин<sup>22</sup>. Из писателей более старшего поколения однажды выступил в «Рудине» Б. Садовской, был приглашен, но не участвовал в журнале А. С. Грин<sup>23</sup>.

Молодые силы, также в основном студенты, были привлечены и к оформлению журнала. Стилизованные заставки, виньетки и рисунки «Рудина», как правило, не связанные с текстом, в большинстве своем были подражаниями книжной графике «Мира искусства» и придавали журналу видимость эстетического издания. В том же духе выполнены и печатавшиеся почти в каждом номере рисунки С. Н. Груzenberga — уже известного в то время книжного графика, — и работы молодого Н. Н. Купреянова — впоследствии крупного деятеля советской иллюстрации<sup>24</sup>. На этом фоне резко выделялись многочисленные политические карикатуры студента Академии художеств Е. И. Праведникова, стиль которых, по меткой характеристике Рейснера, определялся сочетанием «академической точности» с «подавляющим реализмом» и «чудовищной злостью» (II, 2)<sup>25</sup>. Наиболее яркими из них были — карикатуры на Бальмонта, на П. Б. Струве, на Вл. Бурцева, на Г. В. Плеханова, занявшего оборонческую позицию (№ 1, 3, 5, 6).

Несмотря на довольно широкий круг авторов, привлеченных к журналу (около 30), главными сотрудниками «Рудина» были сами издатели — Л. Рейснер и ее отец, выступавшие в каждом номере с двумя-тремя статьями, подписанными не только их собственными именами, но и разными псевдонимами<sup>26</sup>. Именно они определяли лицо журнала, стремясь следовать поставленной в его программе задаче — клеймить «безобразие русской жизни». Таковы памфлеты М. А. Рейснера, направленные против закулисных деятелей императорского режима («Свинья» — № 5) и ренегатствующих либералов («Бесстыдник», «Муж благоленен» — № 3, 7), высмеивающие бюрократическую систему управления («Дураки» — № 4), застой и косность официальной науки («О выеденном яице...» — № 5), разоблачавшие шовинистическую пропаганду («Труба Иерихона» — № 2). Такова и статья Ларисы Рейснер, направленная против шовинистического угара в тогдашней поэзии («Краса» — № 1), а некоторые из ее критических статей, опубликованных в «Рудине», и по сей день сохраняют свое значение — например, статья «Россия в мечтах и ожиданиях» — об историческом пессимизме Ф. Сологуба (№ 2) или статья «Через Ал. Блока к Северянину и Маяковскому», где Маяковский впервые назван трибуном народных масс (№ 7). Всего же она напечатала в «Рудине» 9 литературно-критических статей и рецензий, а также 10 стихотворений. И хотя поэзия Рейснера в это время была отмечена влиянием акмеизма, стремлением к эстетству, к изысканности образов и фразеологии, во многих из ее стихотворений, опубликованных в журнале «Рудин», отчетливо звучат бунтарские настроения молодого автора — неприятие современной социальной действительности и пафос ее разрушения («Сонет», посвященный Рудину; «Памяти Камилла Демулене»; «Медному всаднику» — № 1, 7 8).

Вообще же состав журнала был крайне неоднороден; рядом с острыми политическими памфлетами и серьезными критическими статьями значительное место занимали про-

изведения молодых эстетствующих литераторов, а меткая политическая карикатура уживалась, как уже было сказано, рядом с рисунками эпигонов «Мира искусства».

Не имея четкой политической программы, адресованный довольно узкому кругу интеллигенции, к тому же связанный контролем цензуры военного времени, «Рудин» не оправдал возложенных на него надежд. Он не нашел своего читателя, а материальные трудности оказались не под силу его издателям. В мае 1916 г. журнал прекратился на 8-м номере, просуществовав всего полгода.

Однако в судьбе самой Ларисы Рейснер, а также в судьбе ее отца «Рудин» стал весьма важной ступенью. Работа в журнале во многом подготовила выбор гражданской позиции, сделанный ими после Октябрьского переворота, выбор — который привел их обоих в ряды Коммунистической партии.

«Мы — долгие годы, предшествовавшие 18 году, и мы Великий, навеки незабываемый — 18 год», — писала Рейснер родителям в конце 1922 г.<sup>27</sup> Эти патетические строки свидетельствуют, что и свою собственную судьбу, и судьбу своих близких она воспринимала как явление, в значительной степени характерное для эпохи Революции и лет, непосредственно ей предшествовавших.

Вероятно, это и побудило Рейснер предпринять попытку художественного осмысливания минувших событий ее собственной жизни в дни, казалось бы, меньше всего подходившие для ретроспективных размышлений и воспоминаний. Но в то время история «Рудина» не была для Рейснер только ретроспективой. Она тесно связывалась в ее сознании с историческими событиями в жизни страны, участницей которых она стала. Есть основания полагать, что героиня задуманного романа должна была повторить ее собственный путь, пройдя от романтического бунтарства и стихийного неприятия российской действительности к сознательному участию в социалистической революции. О том, что таков был замысел автора, свидетельствует не только один из дошедших до нас фрагментов, но и набросок плана романа, сделанный в 1919 г.<sup>28</sup>

Однако основная часть сохранившегося текста все же связана именно с историей «Рудина». Вокруг этого сюжетного стержня группируется ряд эпизодов, в которых очерчены политические взгляды отца геройни, умонастроения студенческой молодежи, беспричинность представителей официальной науки, нравы декадентствующих кругов. Эти эпизоды создают тот общественно-политический фон, благодаря которому рассказ о неудавшейся попытке петербургского профессора и его дочери издавать журнал выходит за пределы семейной хроники и приобретает определенное социально-историческое звучание.

Почти все персонажи романа — лица, реально существовавшие в окружении писательницы, хотя не всех мы можем точно идентифицировать<sup>29</sup>. Это ее родители, друзья семьи, лица из литературно-художественного, научного и делового мира. Те из них, кто был связан с Рейснер или с ее семьей тесными родственными или дружескими связями, скрыты, как правило, под вымышленными именами. Лица, с которыми ее связывали чисто деловые отношения, а также широко известные деятели науки и литературы, с которыми она не была знакома лично, выведены под собственными фамилиями.

Значительное место в романе занимает семья Рейснеров — сама Лариса (в романе —



ПЕРВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «РУДИНЪ»

Ноябрь 1915 г.

Обложка по рисунку Е. И. Праведникова

Ариадна) и ее родители (их имена неоднократно изменялись в процессе работы над рукописью<sup>30</sup>).

В образе отца героини очень точно отражены обстоятельства жизни М. А. Рейснера. В его лице показана трудная судьба прогрессивно мыслящего русского ученого, для которого репутация «неблагонадежного» практически закрывала возможность плодотворной научной работы.

Рейснеры принадлежали к той части русской интеллигенции, которая в годы между двумя революциями пришла к выводу о несостоятельности существующего режима и неизбежности его крушения, к сочувствию пролетарскому освободительному движению. Однако, достаточно откровенно декларируя свои политические симпатии, эта группа интеллигенции оставалась вне реальной политической борьбы. Судьба отца давала Рейснеру материала для попытки художественного отображения той сложной социальной и психологической коллизии, которой сопровождался подобный переход «с правого берега на левый», еще не доведенный до своего логического конца (II, 4). Авторские размышления по этому поводу раскрывают один из идейных мотивов романа: «деклассированный» интеллигент, покинувший «прежний лагерь», но тем не менее связанный с ним грузом прошлого, «никогда не сольется с новой средой», если останется на позиции «старой, барской, рыцарственной романтики» (II, 4). Именно на этой позиции и стоит отец героини романа со своей мечтой предпринять «поход против общества» на страницах задуманного им журнала. «Я стар, ты тоже у меня устала,— говорит он жене,— почему не доставить себе этой последней радости и не крикнуть королю, что он голый? Большего мне не надо, но хочу услышать звон битых стекол и испуганный визг, и — Лисси, это уж действительно надежда, но очень скромная,— может быть, за нашей спиной раздастся гул, движение, этот отравленный ненавистью крик, которого мы ждали так долго. Хочешь, рискнем, все равно жить дольше так, как мы жили,— невозможнó» (II, 4). Таким образом, он сам сознает, что его попытка издавать оппозиционный журнал — всего лишь бунт одиночки, не имеющей никакой реальной опоры в обществе и этим самым обреченный на неудачу. И все же, движимый «бескорыстным пафосом» борьбы, он не может и не хочет остановиться.

На той же «романтической» позиции стоял и прототип этого персонажа — М. А. Рейснер, да и сама Лариса Рейснер в пору издания «Рудина»: они решились выступить в одиночку, подняв на страницах своего журнала голос против самодержавного режима и буржуазной морали, однако голос их не был услышан. Прошло немного времени, и Революция открыла перед ними иные пути. Право стать «своей» в стане Революции Лариса Рейснер завоевала под пульями, защищая молодую Советскую Республику. Ее отец заслужил это право активным участием в строительстве социалистического государства<sup>31</sup>.

В этом свете становится понятным смысл названия, которое дано первому из дошедших до нас фрагментов романа, — «Requiem». История «Рудина» — своеобразный «Requiem» собственному прошлому. В этом прошлом отразилась, по словам автора, «рыцарственная романтика» старой русской интеллигенции с ее «бескорыстным пафосом» и «культом порывов», — «романтика», не учитывающая реальные пути политической борьбы (II, 4).

Для Ларисы Рейснер «Рудин» был только началом, первым шагом на пути в будущее. Летом 1916 г. она писала родителям с берегов Волги: «...за Россию бояться не надо; в маленьких сторожевых будках, в торговых селах, по всем причалам этой великой реки — все уже бесправно решено. Здесь все знают, ничего не простят и никогда не забудут. И именно тогда, когда будет нужно, приговор будет произнесен и свершится казнь, какой еще никогда не было»<sup>32</sup>. Героиня романа полна тем же предчувствием близких социальных потрясений и готова ринуться им навстречу, хотя ее представления о целях и средствах предстоящей борьбы еще весьма смутны.

Для понимания образа Ариадны чрезвычайно важен эпизод в литературно-артистическом кабаре (в нем легко угадывается известный ночной клуб «Бродячая собака»<sup>33</sup>), где Ариадна читает свои «стихи о Петербурге» (I, 2). Привычный символ Петербурга — «Гигант на бронзовом коне» — приобретает в ее интерпретации неожиданный и пророческий облик. Он возникает перед слушателями «не один, как прежде, но в тесных объятиях другого Всадника, который, сидя на железном седле, обхватив одной рукой страшный стан Петра, другой искал опененные удила Коня». Этот новый Всадник «услышит стоны чугунного горла под своими руками, изуродованными трудом, и победит, и с ключ-

ями императорской тоги в руке, обагренной кровью полубога, ускачет, ускачет на освобожденном Коне». Перед лицом «богемской черни», бросая ей свои стихи, полные «смутной угрозы», Ариадна ощущает себя «маленьkim рыцарем без страха и упрека» и готова к поединку. Но «маленький рыцарь» бросает вызов не только «богемской черни». Перед ним еще один противник: «высоко над толпой сидел Гафиз», а вокруг него — «каста поэтов, строго подобранный цех».

Под экзотическим именем Гафиза выступает один из основателей акмеизма — поэт Н. С. Гумилев, с которым в годы войны Рейннер связывали близкие отношения<sup>34</sup>.

В юности Рейннер пережила сильное увлечение поэзией акмеистов, но постепенно изменила свое отношение к этому поэтическому направлению. В процессе работы над изданием журнала складываются ее представления об искусстве, прежде всего об его общественной значимости, и принципы акмеизма становятся ей чужды. В незаконченной статье, написанной в 1916 г., Рейннер говорит об акмеизме и его главе: «Действительно, в безвоздушном пространстве всякая гармония вырождается в мертвую холастику, катехизис, живые монстры. Фантазия, оторванная от живого народного наречия, бледнеет, замирает, чахнут ее живые ключи, слово обращается в торжественный соляной столб»<sup>35</sup>. Это и есть то «бесчеловечное искусство» с его «холодностью» и «объективным совершенством (...) формы», вызов которому бросает Ариадна, читая Гафизу и другим «жрецам чистого искусства» стихи, «пропитанные гарью социального пожара». Таким образом, юная героиня романа демонстрирует в этом эпизоде совершенно определенную общественную и творческую позицию.

Для понимания идейного смысла романа очень важен еще один персонаж — ученый Сильванский и рассказ о провале его диссертации (I, 4)<sup>36</sup>. По замыслу автора, Сильванский воплощает передовую мысль исторической науки и противопоставлен университетским профессорам, представляющим науку официальную. Если Ариадна выражает свое предчувствие близких социальных катастроф языком поэтических образов, Сильванский говорит о том же языком научной логики. Разоблачая «призрак государственности», «тайную сущность власти» и «сословное буржуазное право», Сильванский приходит к выводу, что система, основанная на «общественной лжи и несправедливости», далее существовать не может — она стоит перед «полным, непоправимым разрушением». И так же, как «жрецы чистого искусства» с ненавистью отвергают бунтарскую поэзию Ариадны, «официальные жрецы» науки страшатся беспощадных выводов Сильванского.

Университетская, в частности, профессорская среда занимает большое место в романе. В этой среде Рейннер жила и хорошо ее знала. В описанные ею годы в области просвещения осуществлялась политика министра Кассо, жестоко расправлявшегося со всеми проявлениями студенческого свободомыслия и последовательно удалявшего с университетских кафедр прогрессивно мыслящих профессоров. В этих условиях проблемы нравственного облика и научной совести ученого стояли очень остро. Они глубоко волновали и Л. Рейннер.

В эпизоде защиты Сильванского дана сатирическая характеристика «синклита» благонамеренных профессоров («славный черносотенец», «велеречивый лгун», «торговец сладким лимонадом», «молодые либералы, которые изучают русский парламентаризм, блаженно не замечая участков, еврейских погромов и монопольки»). Вслед за этим в романе возникает еще один образ, несущий значительную идеиную и психологическую нагрузку, — Веселовский (II, 5).

Этим именем в романе назван петербургский профессор, видный экономист В. В. Святловский, друг семьи Рейннеров, с которыми еще недавно его связывали общность научных взглядов и общественной позиции. Но если за последнее десятилетие Рейннеры неизменно поворачивали влево, то Святловский избрал путь компромиссов, нажил немалое состояние, ловко балансировал в годы репрессий Кассо и, сохранив репутацию либерала, сумел в то же время занять прочное положение в университете<sup>37</sup>. В Веселовском значительно углублены черты Святловского (с целью подчеркнуть их типичность), и прежде всего его «многоликость» приспособленца: Веселовский — «банкир-социалист», он — поэт и в то же время делец, ограбивший своего доверителя, либерал, в погоне за властью делающий ставку на реакцию. «Дух великого компромисса, утонченного кровосмешения идей, мощь лжи» пронизывает все стороны деятельности Веселовского, в том числе и педагогическую. В результате талантливый ученый и блестящий эруди-

дит, Веселовский может дать своим ученикам знания и навыки научного анализа, но не может дать им «морального костяка, единства и веры».

Веселовский типичен — в нем отражен процесс вырождения, которому подверглась значительная часть буржуазной либеральной интеллигенции в годы, прошедшие между двумя революциями. Этот психологический и в то же время социально-заостренный портрет может быть признан наиболее удавшимся образом романа. Создавая этот двуликий образ, Рейснер выразила свое нравственное credo: без твердых убеждений и моральных устоев любая общественная деятельность теряет смысл, более того — превращается в свою противоположность. Суд над Веселовским — «профессором-социалистом», который под защитой городового, оберегающего «имущество, спокойствие и вдохновение банкира Веселовского», обучает студентов «разрушению и справедливости», — писательница предоставляет его ученикам: «Последователей у него не было — все, принявшие из его неверных, неубежденных рук святые дары политической веры, уходили от него удовлетворенными, более опытными», но одни — «с неблагодарным и презрительным оттенком — как от проститутки», другие — с мыслями «о том, как в первый день революции с четырех концов запалят нарядную пещеру мудреца».

Не будем останавливаться на других персонажах и эпизодах романа<sup>38</sup>. Приведенных примеров достаточно, чтобы представить себе идеальный смысл романа так, как он вырисовывается из сохранившихся глав. При всей их фрагментарности, незавершенности, а порой и стилистической необработанности, эти главы воссоздают атмосферу уходящей эпохи и настроения различных кругов русской интеллигенции в преддверии революции, а также дают зарисовки буржуазных дельцов.

Рейснер очень дорожила своим замыслом и, как мы видели, на протяжении трех лет неоднократно возвращалась к нему. В начале января 1922 г. она послала ряд глав родителям, а 22 апреля спрашивала их: «Что мой «роман», жду ваших рецензий с трепетом»<sup>39</sup>. Отзыв родителей не сохранился, но был, по-видимому, отрицательным, так как 7 мая Рейснер пишет им: «Признаюсь, я тоже немножко обижена, как-то не примирилась с забракованием своего романа. Ни папа, ни мать не пишут ничего по существу. Что, по вашему, плохо, почему первые главы, которые мне казались такими удачными, не получили даже мотивированного приговора? Неужели все так отвратительно?»<sup>40</sup> А несколько позже она отвечает еще на одно критическое письмо, также до нас не дошедшее: «Совершенно неожиданно пришло мамино письмо. Я не могла, конечно, писать дальше роман, пока она мне не сказала именно то и именно о том, о чем было надо (...). Теперь передо мной и страницы почерневшие, выпавшие из рукописи, как мертвые, — и точки, от которых можно строиться дальше. О «примитивности» ваших двух фигур вы абсолютно правы, но ведь это никогда не будете вы вполне — это первый профиль, тень»<sup>41</sup>.

Родители Рейснер действительно выведены в романе слишком прямолинейно, кое-что могло их покоробить и даже обидеть в этом изображении. Вот почему они так долго отмалчивались и отозвались только после настойчивых напоминаний дочери. Как видно из приведенного письма ее к ним, отзыв их был очень суров. О том же свидетельствует и приписка Ф. Ф. Раскольникова в этом же письме: он называет жену автором «романа, проваленного даже пристрастными родственниками Трибуналовыми»<sup>42</sup>. И хотя в последнем письме Рейснер говорит о своем намерении продолжать роман, намечая «точки, от которых можно строиться дальше», она, по-видимому, больше к нему не прикасалась. Отчасти в этом повинно сугорловое отношение родителей, мнение которых она высоко ценила. Но, вероятно, причина прекращения работы над романом заключалась в другом.

Стремительное течение жизни неудержимо захватывало Рейснер, отодвигая в тень образы прошлого, которые так недавно были для нее неотъемлемой частью настоящего. Еще не отказавшись от мысли продолжать свой роман, она остро ощущает в себе эту перемену. 7 мая 1922 г., прочитав присланные ей стихи Ахматовой и журнал «Записки мечтателей» с романом А. Белого «Котик Летаев», она пишет родителям: «...эти книги и радуют, и беспокоят, точно после долгой разлуки возвращаешься — на минуту и случайно — в когда-то милый, но опостылевший, брошенный дом». И продолжает далее, несомненно подразумевая также свой собственный опыт: «Нет ничего вреднее кладбищ, воспоминаний и несколько сентиментального блуждания по собственным развалинам. Развалины цепки, пахнут мертвым и причиняют гибельные слабости»<sup>43</sup>. Эти слова помогают понять, почему мы больше не встречаем никаких следов дальнейших «блужданий» Рейснер по собственному прошлому.

Сохранившиеся фрагменты романа предполагалось включить в первый том трехтомного собрания сочинений Рейснер, издание которого в 1928 г. готовилось в ГАХН<sup>44</sup>. Издание это осуществилось в неполном виде<sup>45</sup>. Роман не был в него включен и затем еще около 40 лет оставался вне поля зрения не только читателей, но и исследователей. Первое сообщение об этом произведении и краткая характеристика его появились в 1965 г. в статье С. В. Житомирской «Архив Л. М. Рейснер»<sup>46</sup>. В 1968 г. отдельные эпизоды его использовал в качестве материала в своей биографической повести о Рейснер И. Н. Крамов (без ссылок на источник)<sup>47</sup>. В том же году И. Сукиасова опубликовала небольшой отрывок из начала первого фрагмента (Ариадна у художника Грина); в публикации допущены произвольные пропуски, искажающие смысл, и выдвинуто бездоказательное утверждение, что в художнике Грине изображен писатель А. С. Грин<sup>48</sup>. В 1975 г. проблемы «личность и эпоха» в этом произведении Рейснер коснулась в форме тезисов Н. А. Такташева<sup>49</sup>. Однако в целом текст романа до сих пор оставался неизвестным, а проблемы, с ним связанные, — неизученными. Настоящая публикация дает возможность восполнить этот пробел в изучении творческого пути Ларисы Рейснер — писательницы, чье литературное наследие заслуживает того, чтобы стать известным в полном объеме.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Лариса Рейснер. Собр. соч., т. 1—2. М.—Л., Гиз, 1928; Лариса Рейснер. Избр. произв. М., Гослитиздат, 1958; Лариса Рейснер. Избранное. М., «Худ. литература», 1965.

<sup>2</sup> Обзор архива писательницы см.: С. В. Житомирская. Архив Л. М. Рейснер. — «Записки отдела рукописей ГБЛ», вып. 27. М., «Книга», 1965.

<sup>3</sup> «Рудин (Поэзия.— Памфlet.— Сатира)». Двухнедельный журнал. Пг., ноябрь 1915 — май 1916 г., № 1—8.

<sup>4</sup> См. ниже «Характеристику источников публикации».

<sup>5</sup> Два очерка Рейснер «Офелия» и «Клеопатра» — под общим названием «Кенигские типы Шекспира» — напечатаны под псевдонимом «Лео Ринус» (Рига, «1912—1913»); драма «Атлантида» — в альманахе «Шиповник» (кн. ХХI, СПб., 1913). В 1914—1917 гг. Рейснер печаталась в журналах «Рубикон», «Богема», «Рудин», «Летопись», «Свободный журнал», газете «Новая жизнь» (см. С. В. Житомирская. Указ. ст., с. 47).

<sup>6</sup> Подробнее о деятельности Рейснер в Петрограде в 1917—1918 гг. см.: С. В. Житомирская. Указ. ст., с. 48—49; С. Варшавский, Б. Рест. Билет на всю вечность (Повесть об Эрмитаже). Л., 1978, с. 105—108.

<sup>7</sup> См.: Лариса Рейснер. Избранное. М., «Худ. литература», 1965, с. 512—514; С. В. Житомирская. Указ. ст., с. 49.

<sup>8</sup> Л. Берлин. Дело служения народу. — В сб.: «Лариса Рейснер в воспоминаниях современников». М., «Сов. писатель», 1969, с. 78—79.

<sup>9</sup> 20 декабря 1918 г. Рейснер была назначена и. о. комиссара Генштаба Военно-Морского флота, а 19 января 1919 г. утверждена в этой должности (Центральный Государственный архив Военно-Морского флота, р. 5, д. 286, л. 594 и 685).

<sup>10</sup> Все эти данные уточняются по документам, хранящимся в Центральном Гос. архиве Военно-Морского флота (р. 342, оп. 1, д. 919, л. 324) и в личном архиве Рейснер (ГБЛ, ф. 245, 9.20 и 12.45).

<sup>11</sup> См. ниже «Характеристику источников публикации».

<sup>12</sup> См. работы М. А. Рейснера: «Христианское государство» (Томск, 1899) и «Государство и верующая личность» (СПб., 1905).

<sup>13</sup> В 1904 г. по приглашению К. Либкнехта Рейснер выступил в качестве эксперта на Кенигсбергском процессе, возбужденном по требованию царского правительства против немецких социал-демократов с целью добиться прекращения ввоза в Россию нелегальной литературы. Показания Рейснера сыграли значительную роль в ходе процесса, который не только не оправдал надежды его вдохновителей, но имел обратный результат: авторитет царского режима за рубежом был сильно подорван. После процесса германские власти установили за Рейснером полицейский надзор. Тем не менее он активно участвовал в газете «Vorwärts», органе германской социал-демократии, и читал публичные лекции в рабочих аудиториях.

<sup>14</sup> В 1905 г. Рейснер обратился к В. И. Ленину с предложением организовать в Женеве конференцию сторонников бойкота Государственной думы; ему принадлежит также план сбора средств для помощи вооруженному восстанию (Ленин, т. 47, с. 81—82). В том же году он нелегально приезжал в Россию и принял участие в Таммерфорской конференции РСДРП.

<sup>15</sup> Материалы, подготовленные для этого труда, легли в основу книги Рейснера «Государство. Пособие к лекциям по общему учению о государстве», ч. I—III. М., 1911—1912.

<sup>16</sup> Последняя фраза зачеркнута автором — см. Фрагмент II, глава 4. Далее ссылки на текст публикуемого романа даются в тексте статьи; при этом номера фрагментов обозначаются римскими цифрами, номера глав — арабскими.

<sup>17</sup> Всеволод Рождественский. Юность наших дней.— «Лариса Рейснер в воспоминаниях современников», с. 20.

<sup>18</sup> Там же.

<sup>19</sup> «Рудин», 1915, № 1, с. 1.

<sup>20</sup> А. В. Лупачарский. Очерки по истории русской литературы. М., «Худ. литература», 1976, с. 193.

<sup>21</sup> «От редакции».— «Рудин», 1916, № 4 (внутренняя сторона обложки).

<sup>22</sup> Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938) в 1915 г. окончил Петербургский университет; начал печататься в 1910 г., в «Рудине» опубликовал два стихотворения (№ 7, 8); в незавершенной статье «Краткий обзор нашей современной поэзии (Акмеизм)» (1916) Рейснер сочувственно отзывалась об его творчестве (ГБЛ, ф. 245, 3.1.). Всеволод Александрович Рождественский (1895—1977) в 1914—1916 гг. был студентом Петербургского университета; начал печататься в 1911 г.; был дружен с Рейснер по «Кружку поэтов» и оставил воспоминания о ней (см. выше, прим. 17); в «Рудине» напечатал три стихотворения (№ 4, 7, 8). Иван Васильевич Ефодиков (1887—1941) в 1911—1915 гг. был студентом Петербургского университета; начал печататься в 1915 г., в «Рудине» опубликовал два стихотворения (№ 2, 7). Лев Вениаминович Никулин (1891—1967) начал печататься в 1909 г., сотрудничал в сатирических журналах и газетах; в «Рудине» напечатал три стихотворения под своим именем и под псевдонимом «Ангелика Сафьянова» (№ 1, 2, 6); о своем участии в журнале и о Рейснер — издательнице «Рудина» — вспоминает в очерке «Лариса Рейснер» (в кн. «Люди и странствия. Воспоминания и встречи». М., 1962, с. 91—94).

<sup>23</sup> Борис Александрович Садовской (наст. фамилия — Садовский; 1881—1952) во времена издания «Рудина» выпустил поэтический сборник «Самовар» (1914), ряд прозаических произведений и два сборника критических статей; в «Рудине» напечатал одно стихотворение (№ 3). Александр Степанович Грин (наст. фамилия — Гриневский; 1880—1930) жил в Петербурге с 1906 г., тогда же начал печататься: ко времени издания «Рудина» выпустил девять сборников рассказов (1913—1916). В расходных ведомостях по журналу значится гонорар в 25 р., выплаченный Грину, а 8 декабря 1915 г. Грин писал Рейснер, что посыпает ей обещанный рассказ «Танец» (ГБЛ, ф. 245, 9.12 и 6.16). Однако ни этот рассказ, ни другие произведения Грина в «Рудине» не печатались.

<sup>24</sup> Семен Николаевич Груценберг (1888—1934) — художник-график, сотрудник журн. «Сатирикон» (1908), участник выставок «Мир искусства» (1913—1916); был постоянным сотрудником «Рудина» — его заставки и рисунки печатались во всех номерах журнала, кроме последнего. Николай Николаевич Купреянов (1894—1933) поместил в «Рудине» два рисунка (№ 8).

<sup>25</sup> Евгений Иванович Праведников — автор обложки «Рудина», значительной части рисунков и почти всех карикатур в «Рудине» (в каждом номере появлялось по несколько его работ); карикатуры подписывал псевдонимом («А. Топиков»), остальные рисунки — настоящим именем.

<sup>26</sup> М. А. Рейснер печатался в «Рудине» под псевдонимами: Марин, М. Ларин, И. Смирнов. Последние два ошибочно приписывались его дочери (Иннокентий Оксенев). Лариса Рейснер. Л., «Прибой», 1927, с. 11, 28—29; эту ошибку повторил И. Ф. Масанов в «Словаре псевдонимов», т. II и IV. М., 1957—1960). Л. М. Рейснер писала под псевдонимами: Л. Храповицкий, Е. Ниманд, Рики-Тики-Тави. Ее мать — Екатерина Александровна Рейснер — пользовалась псевдонимами: Р. Власта и Юлия Хитрова (она напечатала в «Рудине» пять рассказов). Все псевдонимы членов семьи Рейснер раскрыты в комплекте журнала, сохранившемся в архиве писательницы (ГБЛ, ф. 245, 11.49/1—2).

<sup>27</sup> Лариса Рейснер Избранное, с. 546.

<sup>28</sup> См. ниже «Характеристику источников публикации».

<sup>29</sup> Прототипы персонажей романа раскрываются в примечаниях к публикуемому тексту. В некоторых случаях установить прототипы не удалось; эти случаи в примечаниях не оговариваются.

<sup>30</sup> См. ниже «Характеристику источников публикации».

<sup>31</sup> Сразу же после Октябрьского переворота М. А. Рейснер привнял самое активное участие в работе по созданию Советского государства — руководил отделом законодательных предложений в Наркомате юстиции, участвовал в комиссии по составлению первой советской конституции, выпустил брошюру «Что такое советская власть» (М., 1918) и ряд других работ, разъясняющих принципы советской государственности.

<sup>32</sup> Лариса Рейснер. Избранное, с. 512.

<sup>33</sup> См. прим. 5 к фрагменту I.

<sup>34</sup> Гафиз — персонаж драматизированной сказки Н. С. Гумилева «Дитя Аллаха» («Аполлон», 1917, № 6—7). Этим именем Рейснер называла Гумилева в своих письмах к нему (1916—1917) и в стихах, ему посвященных (ГБЛ, ф. 345, 5.3 и 1.5).

<sup>35</sup> Л. Рейснер. Краткий обзор нашей современной поэзии (Акмеизм). — ГБЛ, ф. 245, 3.1; см. также рецензию Рейснер на драматическую сказку Гумилева «Гондла» («Летопись», 1917, № 5—6, с. 363). Об отношении Рейснер к акмеизму см.: Н. А. Ташева. Лариса Рейснер и модернисты (в сб. «О традициях и новаторстве в литературе и устном народном творчестве», в. II. Уфа, 1972).

<sup>36</sup> О Сильванском и его прототипах см. прим. 23 к тексту романа.

<sup>37</sup> О В. Святловском и его отношениях с семьей Рейснер см. прим. 50.

<sup>38</sup> Следует отметить, что в романе фигурируют два персонажа, выступающие в разных фрагментах под одним и тем же именем: художник Грин и писатель Грин. Художник появляется в начале первого фрагмента, он полон презрения к «лжи» буржуазного мира

и предчувствует социальные катаклизмы, несущие гибель этому миру; прототип его неясен, лишь темы его рисунков несколько сближают его с С. Н. Грузенбергом (см. выше, прим. 24, а также прим. 2 на с. 250). Писатель Грин фигурирует в зачеркнутой автором главе другого фрагмента как основной сотрудник «Рудина» (см. Приложение III). «Пламенный куль океана, чистого воздуха и чистой любви» сближают его с А. С. Гриным, однако, как уже отмечалось, Грин не был сотрудником «Рудина» (см. выше, прим. 23).

<sup>39</sup> Лариса Рейснер. Избранное, с. 520; здесь это письмо ошибочно отнесено к 1921 г.

<sup>40</sup> Там же, с. 522.

<sup>41</sup> Там же, с. 531—532.

<sup>42</sup> ГБЛ, ф. 245, 5.15, л. 35.

<sup>43</sup> Лариса Рейснер. Избранное, с. 522—523.

<sup>44</sup> План этого издания хранится в ЦГАЛИ.

<sup>45</sup> Лариса Рейснер. Собр. соч., т. 1—2. М.—Л., 1928.

<sup>46</sup> «Записки отдела рукописей ГБЛ», в. 27, с. 68—69.

<sup>47</sup> И. Крамов. Утренний ветер. М., «Детская литература», 1968.

<sup>48</sup> Ирина Сукасова. Новое об Александре Грине.— «Литературная Грузия», 1968, № 12, с. 75—76.

<sup>49</sup> Н. А. Ткачева. Личность и эпоха в автобиографической повести Л. Рейснер «Рудин».— В сб.: «Писатель и время», в. I. Ульяновск, 1975, с. 54—55.

## ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ПУБЛИКАЦИИ

Три разрозненных фрагмента рукописи романа представляют собой отрывки разных редакций, которые создавались на разных этапах работы, продолжавшейся около трех лет (1919—1921). Анализ этих рукописей позволяет установить замысел незавершенного произведения Л. Рейснер.

Первый фрагмент (черновой автограф — ГБЛ, ф. 245, 2.31/1) содержится в kleenчатой тетради, на титульном листе которой рукой Рейснер вписаны заглавие, инициалы автора и дата:

«Requiem  
L. v. R.  
An<no> 1919 \*

Тетрадь содержит пять эпизодов, действие которых относится к концу 1915 г. и связано с организацией журнала «Рудин»: Ариадна у художника Грина; в кабачке на Михайловской площади; разговор с братом; приход студентов и рассказ о Сильванском; типограф Альтшуллер (см. фрагмент I, гл. 1—5).

Большая часть этого текста (л. 1—50; фрагмент I, гл. 1—4) написана с полным соблюдением старой орфографии и имеет авторскую нумерацию страниц (1—104). Первоначально нумерация начиналась с цифры «11», которая затем была зачеркнута и заменена на «1».

Последние 12 страниц (л. 50—61; фрагмент I, гл. 5) не нумерованы и написаны чернилами и карандашом, до этого не употреблявшимся. Здесь автор уже частично переходит на новую орфографию (полностью отказывается от «ѣ», непоследователен в написании «ъ» и повсюду сохраняет «і»). Все это дает основание полагать, что последние 12 страниц были дописаны значительно позднее, во второй половине 1920 г. (к июлю этого года Рейснер уже полностью отказалась от «ъ», но по-прежнему сохраняла написание «і» — см. автограф очерка «О Петербурге», июль 1920 г.— ГБЛ, ф. 235, 3.30).

Совершенно очевидно, что первый фрагмент является продолжением не дошедшего до нас начала повествования. С об этом свидетельствуют первоначальная пагинация автографа («11»), а также первоначальная редакция первой его фразы: «Их юмор <...>».

Сохранилась также машинописная копия этого фрагмента (ГБЛ, ф. 245, 2.31/2), сделанная на бумаге советского производства — а значит, не позднее марта 1921 г. (до отъезда Рейснер в Афганистан). На л. 1 помета автора: «3-й отрывок». Копия пестрит опечатками, грубо исказжающими смысл, что исключает возможность использования ее как источника публикации.

Второй фрагмент, действие которого также связано с историей «Рудина», сохранился в двух редакциях:

\* Реквием. Лариса фон Рейснер. Год 1919 (лат.).

- 1) Черновой автограф (ГБЛ, ф. 245, 2.32, л. 1—51);
- 2) Авторизированная машинописная копия (ГБЛ, ф. 245, 2.33).

Черновой автограф состоит из двух разных рукописей, по содержанию дополняющих друг друга и соединенных вместе.

Первая из них (л. 1—6) содержит два эпизода: Ариадна у Ефремова, встреча отца Ариадны со Святловским (см. фрагмент II, гл. 1 и Приложение I). Эта рукопись написана чернилами на трех сложенных пополам листах бумаги английского и иранского производства, с авторской пагинацией (1—3). Листы заполнены с оборотом. Автор следует орографии, которой придерживался с июля 1920 г. Второй эпизод незакончен.

Вторая рукопись (л. 7—51) содержит шесть эпизодов: приход Топикова; Ариадна на катке; разговор между родителями; у Веселовского; выход журнала; новогодняя ночь (фрагмент II, гл. 2—6). Эта рукопись написана на бумаге английского производства, листы заполнены без оборота и сложены в виде двух несшитых тетрадей; первая заполнена целиком, вторая — лишь частично. Чернила и орография те же, что и в первой части. Авторская пагинация: 3—46. Перед началом первого эпизода — несколько заключительных строк предыдущего эпизода (фрагмент II, гл. 1). Из них видно, что содержанием двух первых утерянных страниц было возвращение Ариадны из Москвы. Последний эпизод вычеркнут автором.

Имя и фамилия отца героини в двух частях чернового автографа различны. В первой он — Андрей Андреевич, в написании же фамилии автор колеблется: Реден, Роден, Р., Рудин. Во второй части он назван своим подлинным именем — Михаил Андреевич, так же как и мать — Екатерина Александровна (в первой части она не фигурирует); здесь их фамилия — Радины.

Английское и иранское происхождение бумаги, на которой написаны обе части чернового автографа, одинаковые чернила и одинаковая орография свидетельствуют, что Рейснер работала над ними уже в Кабуле, т. е. в 1921 г. Вместе с тем различное оформление этих двух частей чернового автографа, самостоятельная пагинация каждого из них, а также несовпадение в имени отца говорят о том, что эти части относятся к разным редакциям, которые следовали одна за другой и были соединены в процессе дальнейшей работы.

Машинописная копия сделана на бумаге английского и иранского производства, имеет авторскую правку по всему тексту и подпись: «Лариса Рейснер. Кабул, 5 января 1922 г.» На л. 1 авторская помета: «№ 1»; там же помета неизвестной рукой: «Рудин». Страницы 18—23 утеряны.

Копия содержит пять эпизодов: Ариадна у Ефремова; приход Топикова; разговор между родителями; у Веселовского; выход журнала (см. фрагмент II, гл. 1, 2, 4—6). Все они почти полностью совпадают по содержанию с черновым автографом, но вместе с тем имеют ряд отдельных разнотечений, иногда весьма существенных по смыслу. Утерянным страницам машинописи в автографе соответствует эпизод на катке (см. фрагмент II, гл. 3). В машинописную копию не вошли два эпизода чернового автографа: незавершенный второй и вычеркнутый автором последний (встреча отца героини со Святловским; новогодняя ночь — см. Приложения I и III). Имена родителей первоначально соответствовали второй части автографа, но были изменены в процессе авторской правки: отец — Михаил Николаевич Н-ов, мать — Елизавета Алексеевна. Изменена и фамилия Святловского — он стал Веселовским.

Разнотечения машинописной копии с черновым автографом позволяют предположить, что между ними существовала промежуточная редакция, с которой и была сделана копия. Подписанная и исправленная автором, эта копия является окончательной редакцией второго фрагмента и служит источником настоящей публикации.

*Третий фрагмент* (черновой автограф — ГБЛ, ф. 245, 2.32, л. 61—62 об.) содержит один эпизод: Ариадна в Музее изящных искусств, где скульптуры мастеров Возрождения вызывают у нее ассоциации с образами современников — участников гражданской войны. Действие эпизода относится к концу 1919 г.— Ариадна размышляет о событиях гражданской войны, имевших место в это время, как о событиях текущего дня.

Текст написан на двух непрumerованных листах, заполненных целиком, с оборотами. Автор полностью придерживается старой орографии. Следовательно, этот фрагмент

написан не позже начала 1920 г.— после этого времени Рейснер стала постепенно возвращать на новую орфографию.

Этот фрагмент — лишь часть, оторвавшаяся от утерянной рукописи; он имел начало и продолжение: первые строки его предполагают знакомство читателя с обстоятельствами, которые привели Ариадну в Москву; последние — обрываются на полуфразе.

Изучение сохранившихся фрагментов позволяет сделать некоторые выводы по поводу общего замысла задуманного произведения: «непризнание — журнал — бездевяжье — любовь — революция» (запись на полях чернового автографа (фрагмент 1 — ГБЛ, ф. 245.2. 31/1, л. 21 об.). Два фрагмента, повествующие об издании «Рудина», отвечают второму пункту этого плана. Третий фрагмент — свидетельство того, что Рейснер написала также какую-то часть романа в соответствии с последним пунктом намеченного плана («революция»).

Работа над романом была начата в первой половине 1919 г., когда Рейснер — комиссар Генштаба Военно-Морского флота — жила в Петербурге, а затем в Москве. Однако работа была прервана. По-видимому, это произошло в июне того же года, в связи с отъездом автора на Восточный фронт.

Вернуться к роману Рейснер смогла, вероятно, зимой 1919—1920 г., во время краткого пребывания в Москве. Однако теперь ее больше волнуют события настоящего времени, и, не закончив историю «Рудина», она начинает работать над другой частью романа, в которой ее героиня уже пришла в революцию. Немногие уцелевшие страницы этой части (фрагмент третий в нашей публикации) не дают возможности судить о том, как далеко продвинулось исполнение этого замысла. Несомненно только одно: Рейснер работала над этим фрагментом не позднее начала 1920 г.— об этом свидетельствует его орфография.

Во второй половине 1920 г., возвратившись в Петроград, Рейснер решает продолжить работу над первой частью — она вновь обращается к старой тетради и дописывает в ней 12 страниц, завершая незаконченный ранее эпизод первого фрагмента (время этой работы также устанавливается по орфографии). Но вскоре и эта работа прерывается, вероятно, в связи с постоянными разъездами писательницы (в октябре она уезжает в Ригу, в качестве корреспондента, затем на юг).

Только в 1921 г., уже в Кабуле, Рейснер возобновляет свой труд. Она снова возвращается к началу — к юности героини и к истории «Рудина». Однако на этот раз она пишет совершенно новые главы, которые завершает 5 января 1922 г.; они составляют фрагмент второй нашей публикации. Он не повторяет содержание первого фрагмента, скорее, оба они дополняют друг друга. Вполне возможно, что Рейснер предполагала в дальнейшем объединить оба фрагмента в окончательной редакции романа. Однако, как мы знаем, после 5 января работа над романом прекратилась.

Текст романа публикуется по материалам архива Рейснер, описанным выше.

*Фрагмент первый* печатается по черновому автографу (1919—<1920>; ГБЛ, ф. 245, 2.31/1). В подстрочных примечаниях приводятся зачеркнутые автором слова и строки, представляющие интерес в смысловом отношении.

*Фрагмент второй* печатается по авторизированной машинописной копии (5 января 1922 г.; ГБЛ, ф. 245, 2.33). Утерянные страницы ее (эпизод на катке — фрагмент II, гл. 3) восстанавливаются по черновому автографу (1921; ф. 245, 2.32). В подстрочных примечаниях приведены разночтения машинописи с черновым автографом, имеющие принципиальное значение (мелкие разночтения частного характера не учитываются).

*Фрагмент третий* печатается по черновому автографу (<зима 1919—1920 г.>; ГБЛ, ф. 245, 2.32, л. 60—61).

Фрагменты располагаются по их месту в общей канве романа, а не по хронологии их создания, установленной выше.

Эпизоды чернового автографа второго фрагмента, не включенные автором в окончательный текст, публикуются в приложениях.

## &lt;ФРАГМЕНТ I&gt;

&lt;1&gt;

Юмор <sup>1\*</sup>, заостренный годами нищеты, непризнания и профессионального унижения, иногда возвышался до настоящей мести. Но тогда пресса, видя, что одиночество и безнадежность гонят этих неудачников на литературную баррикаду, где они могут быть опасны, давала им свою руку, с которой они жадно и неловко срывали золотую перчатку.

Грина, талантливого Грина, Ариадна разыскала <sup>2\*</sup>, наконец, при посредстве адресного стола на одной из Рождественских улиц. Под ее ногами скрипел высокий свежий снег, но у ворот, желтых и замызганных, он лежал, покрытый вечной сырой тенью, цветом похожий на белье тяжело-больного. Дальше следовали: лестница, звонок, прихожая и, наконец, темная комната, целая гамма из мертвых камней, вещей и настроений, которыми город спокойно продолжал пользоваться, не замечая их холода, неподвижности и злочестия.

Художник сам открыл дверь; и Ариадна нерешительно пожала его белую руку и, удивленная, присела на стариинный диван, обитый темно-зеленой восточной материи <sup>3\*</sup>.

Он был оскорблен. Пришла девушка, красивая девушка с мороза, и делает лицо, точно опоздала к постели любимого родственника, испустившего дух за четверть часа до ее приезда. Неужели до такой степени дошло его падение, что это уже видно чужим людям. Она, между тем, рассказывала о своем журнале. Это должен быть <sup>4\*</sup> поход против общества,— она не решалась сказать «буржуазного»,— какого не было со времени французской революции. Именно сейчас, когда воздух сгустился, как в оранжерее, и возвращалась тишина, которую одни боятся нарушить из лени, другие — скрывающая надтреснутую пустоту своего голоса, третья — пресыщенные всем, по ту сторону добра и зла, одинокие перед тайной самоубийства,— сейчас нужно крикнуть или рассмеяться. Разве не смешна <sup>5\*</sup> жизнь? Она безумна и пьяна, она идет, шатаясь, по пустынным улицам, и зимняя стужа курится над ее головой одинокими дымами. Потом, примите во внимание ненависть.— Ариадна помолчала, и в ее крылатых бровях Грин увидел приближение весенних гроз.— Да, ненависть. Ненависть, ныне осмеянную, и в лучшем случае стилизованную несколькими знаменитыми режиссерами. За газетной грызней и судебным красноречием мы разучились ненавидеть. Красные угли фурий угашены бесчисленными словами, легальная оппозиция, эта содержанка победителей, присвоила себе <sup>6\*</sup> народный гнев. Вместо злобы — прения, вместо бури — шелест газетных листов и вместо знамени — вывески. Как душно! Нужно как-то вздохнуть.

Грин, в юности переживший первую неудачную революцию, слушал с нетерпением, почти недоброжелательством. Одно слово вульгарного политического возмущения, и он прекратит этот неожиданный разговор. Но нет, она ни разу не опускалась до определенной программы. Бунтарский дух этой девушки возмужал на старых и трудных подлинниках, она судила мир, спрятавшись под суровую мантию Спинозы, и сквозь шлифованный камень его седой и целомудренной философии Грину смеялись и гневались ее молодые глаза. Это во всяком случае было ново. Несколько его слух резали резкие, почти циничные насмешки. Грин испугался. Откуда это ядовитое отрицание на устах, имеющих строгий изгиб и цвет нетронутых 18 лет? Правда, среди женщин богемы несколько талантливых куртизанок, полуактрис <sup>7\*</sup>,

<sup>1\*</sup> Было: их юмор

<sup>2\*</sup> Было: Одного из них Ариадна разыскала.

<sup>3\*</sup> Далее зачеркнуто: — Мне вас очень жалко

<sup>4\*</sup> Далее зачеркнуто: ядовитый и гениальный

<sup>5\*</sup> Далее зачеркнуто: важность прилично (слово не дописано).

<sup>6\*</sup> Далее зачеркнуто: и разменяла на гроши

<sup>7\*</sup> Далее зачеркнуто: полупоэтесс

блестало бокаччиевой дерзостью языка, но простой узел их волос, просто сложенный на затылке, при всей чистоте линий благоухал тонким кабаком: след ночей, проведенных в мужском обществе. Художник подавил свои сомнения и слушал дальше. Очень давно, еще в Академии, он любил и часто и тщательно повторял строй античной колонны. Ее белизна, ее гордость... Да, вот откуда цинизм этой девушки. Он вдруг оторвался от далекого воспоминания, от ученического рисунка, кнопками прикрепленного к столу, где помещено было его рукой столько прелестных, столько легких и неколебимых мраморных столбов.

Софисты. Софистика. И весь <sup>8\*</sup> славный цинизм, весь обнаженный пыл разума, присущий этим забытым ныне и опозоренным в веках отцам настоящей науки, так ясно предстал Грину. Как художник, он мыслил и вспоминал образами. Теперь из пепла и льда многих городов, отделявших его от первой молодости и ранней силы его таланта, явились неожиданно старые, давно оставленные замыслы. Он даже улыбнулся их неожиданно пробужденной яркости.

— Александр Иванович, почему вы улыбаетесь? Я не буду говорить, если вам смешно.

Нет, Грин вдруг почувствовал могучее облегчение: он нашел нужные слова.

— Нет, просто пока вы говорили, я вдруг почему-то вспомнил одну картину, или нет, совсем не картину, а мысль. Когда-то, очень давно, я хотел писать софистов. Не правда ли, нелепо? И даже самые важные краски и лица уже просвечивали на чистом полотне, около которого я ходил, смущенный и взволнованный, охваченный собственным затруднением и блаженным страхом; это всегда бывает перед приливом творчества. Жутко и хорошо помедлить перед нетронутым холстом. Да, хотел писать софистов. Только не думайте — книги, литература и тому подобное, — Грин махнул рукой, — я ничего в них не понимаю. А просто: однажды, случайно, я узнал, что в Греции были люди <sup>9\*</sup>, такие до конца одинокие и всеми отвергнутые за горечь мысли и змеиную раздвоенность своего все познавшего жала, что против них восстало вся умная и прекрасная древность. И как их тяжко казнили! О, конечно, Эллада не могла побивать камнями и жечь на костре, но, бесчеловечно-прозорливая, она уничтожила, до последнего свитка, до последней строки, все лучшие, все неповторимые творения софистов. Прекрасны боги, без рук, даже без лица. Складки одежды, движения сохранившихся членов договариваются их бессмертие. Пустота становится зеркалом, и в ее глубине человечество читает напряженные и высокие формы.

Но философия, лишенная речи и выражения! Представьте себе, — вам не скучно? — ведь нужно же иногда выпускать на солнце свою ослепшую, потерявшую крылья и слезы мечту, — какую-нибудь горячую площадь, там, на юге, площадь, мосщенную теми широкими, правильными и неразрушимыми плитами, которые сохранились и до наших дней. Время — не знаю, вероятно, время слишком красивых богов, грубых и обширных зрелиц и социального упадка. Полдень. Пусто, жарко. На ступени здания (вид его безразличен) отдыхает старик. Это последний из тех, кто когда-то знал и слушал Протагора и Горгия, спорил с Платоном, — не был обманут высокопродуманной и классически-ложивой, великолепной кончиной этого философа <sup>1</sup>. Прошло много лет. И медленно, без шума, под мягким гнетом высокой культуры, погиб и умер в Греции взрыв величайшего творчества. Носители его, ославленные, как проституты духа за скучную плату, взимаемую от своих учеников, разбрелись по всему Востоку, и белые их мантии, загрязненные вылью азиатских дорог, смешались с толпой мировых бродяг, шарлатанов и неудачников. Через все Средние века, Возрождение они прошли

<sup>8\*</sup> Далее зачеркнуто: обличающий

<sup>9\*</sup> Далее зачеркнуто: продававшие свои знания, испугавшие древний мир своим отвратительным, такие прозаические

неузнанными, с позорным клеймом. Совершенно-холодная маска Аристотеля, без зрачков, недосягаемо победоносная, прогнала их от дворцов Возрождения опять в века, полные ночи и забвения. И только теперь наша бедность и разум, униженный страданиями без числа, понял, наконец, этих изгнаников золотого и мраморного века, наших предтеч. Ах, эта изголодавшаяся, смеющаяся надо всем и над собой, падшая и мудрая голова... Последний софист... Это так много! Возраст, усталость жить и знать оставили на лбу, висках и шее много морщин, которые так дороги в близких, в отцах и дедах, но ужасны на лице стареющего демагога. Они предвещают случайнную и презренную кончину. Глаз нет, как нет их у всех Вечных. Но прищуренное и одутловатое веко прячет улыбку: по складкам вдоль носа смех простирается на губы, и здесь он глубок, неподвижен, пропитан пескончаемым сумраком. Подземное озеро, с тихим шелестом омывающее почные скалы в ожидании своего освобождения, оставляет из года в год след пены, сырости и морской горечи, след надежды, терпения и времени на стенах своей тюрьмы. Это ровное кольцо, черта, обведенная глубоким одиночеством на стенах всего мира,— она вокруг этого дряхлого цинического рта. Как выразить выражение его губ до конца, чтобы вы поняли? Ведь сперва, очень давно, они молились. Потом горели в лучшие дни любви, и розы падали в огонь, чтобы утишить их пожар. Размеры стиха, благороднейшее сердцебиение музыки и поэзии касались этих губ, они возмужали и из мира идей вернулись к жизни, потемнев, суровыми, как парус, прошедший море и входящий в свою гавань таким чуждым и большим. О, борозды лжи, вот и они, широкие и бесплодные, как дороги, ведущие на рынок, где все продажно. Среди красок этого лица, в бледной красноте рта я почему-то очень ярко видел желтый оттенок, похожий и на пыль, и на шелуху луковицы, которую доступный оратор утоляет своей голод после вызывающей речи, полной резких телодвижений, и на бледность непризнания, которое, спотыкаясь, идет под дождем, роняя в грязь белые, беззащитные страницы никому не нужного труда. Сколько оттенков в этом желтом, глинисто-лимонном цвете! Первый свист толпы, перешедшей к глумлению,— и он ведь желтый, и плащи довольных, уважаемых мыслителей, идущих навстречу пустоте с незапятнанной совестью и упитанным, все от жизни взявшим телом,— их золотит все тот же желтый блеск заката. О, цвет позора или довольства, цвет бессииля перед вечной косностью — неописуемая смесь золота, желчи и пятен, проступающих на пергаменте рукописей и на коже переплетов.

Грин обвел вокруг себя рукой. На охряных стенах, между пятен сырости, отдыхало зимнее солнце.

— Вы пришли меня пригласить в ваш журнал, стать одним из Аргонавтов. Хорошо, согласен. Я еще не стар. Я вам дам для первого номера <sup>10\*</sup> пантер, веселых пантер, с блудницами и вакханками на спине, прыгающих через толстые книги лжи <sup>2</sup> — например, через эту — сочинение знаменитого Павла Николаевича <sup>11\*</sup>! Я нарисую высокие книжные полки, погруженные в молчание и пыль, залы всемирных библиотек, вдруг заросшие до потолка, до часов, заводимых раз в сто лет, заплетенные, задышанные диким виноградом, павлиной, целой пряжей цепких, благоуханных полевых ползунов. Книги опьяняют, часы останавливаются. Я только художник. У меня нет ничего, чтобы выразить велизну и крепость простых и подлинных знаний, которые нужно вынуть из-под земли, как статуи. Я еще не знаю, что делать с песнями огромных человеческих толп, которые должны появиться, мстительные и победоносные. О гневе я уже подумал. Пожары, надо рисовать огонь. Как ясно мне видны статуи, безмолвствующие на карнизах Зимнего дворца, на фоне неба, объятого заревом. Ангел Крепости и Адмиралтейская игла, купола Исаакия, аркады Эрмитажа, решетки старинных садов, гранит набережных и малахит Строгановских галерей,— все, все, как венчальным покрывалом,

<sup>10\*</sup> Далее зачеркнуто: софистов, целую серию их,— дам воскресших, снова молодых, дам

<sup>11\*</sup> Далее зачеркнуто: Милюкова <sup>3</sup>

завешу дымом и в огне поведу к алтарю красоты <sup>12\*</sup>. Города перевоплотятся моими пальцами. И впереди шествий, которые мне снятся, изображу Агасфера, вечного странника, шута и пророка толпы, сатира с древним факелом в руке, бросающего огонь в современные здания, как он *(его)* бросал в Риме, в дни восстания рабов, и в Аттике во время народных возмущений <sup>4</sup>. Софисты, софисты!..

И совсем позабыв о гостье, Александр Иваныч закрыл глаза и не слышал, как за стеной раздувала самовар полная хозяйка, как играл у двери ее кот. А на столе — кипа рисунков, приготовленных его голодной рукой для уличной печати, блистала ужасной дешевизной <sup>13\*</sup>. На них Ариадна, уходя, тихонько положила аванс в 25 рублей. На одну ночь эти деньги, испаряясь тонкими ядовитыми струйками кокаина, вернули Грину волю и творчество.

&lt;2&gt;

Кабачок был расположен на Михайловской площади, в подвале старинного дома <sup>5</sup>. Толпа, изрыгаемая на белый декабрьский снег двумя театрами и большим Варьете, свою пену вливалась в его узкие, сырье ворота. Просачиваясь в фантастически расписанный подвал, эта пена струилась вдоль крутых лесенок плотными перьями вперемежку с крыльями черных летучих мышей, на груди носящих крахмальное белье и цветы <sup>14\*</sup>.

Улыбается за своим столиком уродливый смуглый азиат в цветном платье, и свет ночных ламп изменил лица, сообщая им неподвижную, ложную, глубокую прелесть, изображенную импрессионистами в «Ночном баре» <sup>6</sup>.

Газовые рожки, обрамляя чудовищную и плоскую орнаментальную живопись стен, согревают воздух синими языками. И выше всех, под аркой, соединяющей искусство двух соперничающих мастеров <sup>7</sup>, под аркой, увитой однообразно кистями винограда, за чашками черного кофе, за беседой о боге и любви отыхают прекраснейшие любовники этой зимы. Он <sup>15\*</sup> некрасив. Узкий и длинный череп (его можно видеть у Веласкеза, на портретах Карлов и Филиппов испанских), безжалостный лоб, неправильные пасмурные брови, глаза <sup>16\*</sup> — несимметричные, с обворожительным пристальным взглядом. Сейчас этот взгляд переполнен. Он прям, широк, как гирлянда на деревьях новобрачных, сплетенная из жестких еловых ветвей с голубыми лентами и горными цветами. По его губам, непрестанно двигающимся и воспаленным, видно, что после счастья они скандируют стихи, — может быть, о ночи <sup>17\*</sup>, о гибели надежды и белом безмолвном монастыре. Нет в Петербурге хрустального окна, покрытого девственным инем и густым покрывалом снега, которого Гафиз <sup>8</sup> не замутил бы своим дыханием, на всю жизнь оставляя зияющий просвет в пустоту между чистых морозных узоров. Нет очарованного сада, цветущего ранней северной весной, за чьей доверчивой, старинной, поплатившейся изгородью дерзкие руки поэта не наломали бы сирени, полной холодных рос, и яблони, беззащитной, опьяненной солнцем накануне венца. И, все еще несытая, воля певца легко и жадно уничтожила много прекрасного и покрыла страницы его рукописей стихами-мавзолеями. Готические башни, острова, забытые роком среди морей, золотые источники захваченных стран, крики побежденных и лязгающая поступь победителей, неизменная от древних латников и мореходов до наших обагренных дней, — все это сложилось в гору праздной, разбойничьей красоты. Каждая новая книга Гафиза — пещера пирата, где видно много похищенных драгоценностей, старого вина, пряностей, испытанного оружия и цветов, заглохших без воздуха, в густой темноте. И беззаконная, в каком-то великолепном ос-

<sup>12\*</sup> Далее зачеркнуто: Это не разрушение, а перевоплощение

<sup>13\*</sup> Далее зачеркнуто: и понятностью

<sup>14\*</sup> Далее незаконченная фраза: Прикасая на мгновение к камню, полотну и краске просачиваются теплые и живые

<sup>15\*</sup> Далее зачеркнуто: почти

<sup>16\*</sup> Далее зачеркнуто: без жалости

<sup>17\*</sup> Было: стихи о море, может быть, о горячей тропической ночи

леплении, муга его идет высоко, и все выше, не веря, что гнев, медленно зреющий, может упасть на ее певучую голову, лишенную стыда и жалости. Новое искусство прославило холодность, объективное совершенство ее форм<sup>18\*</sup> и превосходство царей, с которым она пребывает через трясину мертвый, страшной и позорной грязи. О, кто смел думать о том, что самая земля, по которой ступает это бесчеловечное искусство, должна расточиться, погибнуть и сгореть!

У камина, способного обогреть своей огромной, доброй пастью декадентов всего мира, несколько двадцатилетних эпикурейцев, сидя спиной к огню, наслаждаются теплом и мучительно ждут приглашения прочесть свои произведения, бесконечно похожие друг на друга и на своих авторов: маленьких, с расчесанными проборами, оттопыренными ушами и мордочками по-человечески испорченных ночных зверушек.

Огонь в камине трещит, и суровые, покрытые инеем куски сосны, лежа на костре, преодолевают смерть, наливаются огнем, светятся, как окна во время праздника. Огонь, старый язычник с короной из голубоватых камней на пламенеющей голове, иногда выглядывает из-за узких черных спин, к нему повернутых, и слушает людей, говорящих размежеванным певучим языком со сцены. В эти минуты плечи красивых женщин розовеют, на их мягких подбородках, выглядывающих из-под широких шляп, огонь видит свои извилистые, неверные отблески и смеется. Только один, тяжелый и пожилой<sup>19\*</sup> лирик<sup>20\*</sup>, среди всеобщего барокко шагает просто, идет прямо, как ребенок к матери, от своих страданий, от тяжелой жизни, слишком поздно увенчанной славой, к вечной и мудрой смерти<sup>9</sup>. Среди красных кулис, под лампами в кружевных масках, его примиренная и мудрая речь кажется высокой, подавляющей, шагами Каменного гостя среди<sup>21\*</sup> соблазнительных<sup>22\*</sup> сумерек литературы:

Целуйте плечи

У милых жен.

Покой блаженной встречи

Им возведен.

Целуйте ноги

У матерей.

Над ними бич тревоги

За их детей.

Огонь в восторге бросает на смутный ковер полную горсть своих червонцев. В первом ряду дама, черная, злая, в трескучем шелку, единственная радость и вечная мука поэта, под ноги которой брошено двадцать лет поэзии<sup>10</sup>, невнимательно слушает, мучимая старческой завистью к его вечно-молодой поэзии, которую она всю жизнь по очереди всячески<sup>23\*</sup> попирала и затем распродавала неудачным торгом<sup>24\*</sup>. Издатель, сидя тут же, в тени, и стараясь без шума глотать и жевать, ужинает с белым великолепным животным, которое смутно скучает от непонятных слов. Издатель недоволен.

Все остальное заполнилось той публикой, которую Кузмин, в вечной погоне за богатыми покровителями, снижавшими его солнечное мастерство до желтой<sup>25\*</sup> обложки<sup>11</sup>, — называл фармацевтами<sup>12</sup>. Все эти господа и дамы, входя в подвал с некоторым стеснением, удивленно и разочарованно слушали, не видя ничего «особенного» (это особенное могло быть какой-нибудь пьяной цыганкой или молодым поэтом, бьющим зеркала), и не могли понять, за что, собственно, здесь взимается крупная входная плата.

— Кто это? Я ее не знаю.

— Которая?

<sup>18\*</sup> Далее зачеркнуто: ее дыхание, ровное и всегда чистое

<sup>19\*</sup> Далее зачеркнуто: мастер

<sup>20\*</sup> Далее зачеркнуто: слишком умный для моды и слишком талантливый для; затем снова зачеркнуто: ясный, простой и очень умный

<sup>21\*</sup> Далее зачеркнуто: путанных узоров, виньеток и вывертев словесного гурманства литературных шалопаев

<sup>22\*</sup> Далее зачеркнуто: безделок

<sup>23\*</sup> Далее зачеркнуто: унижала и ранила

<sup>24\*</sup> Далее зачеркнуто: за полное собрание сочинений ее, ее Соловьба

<sup>25\*</sup> Далее зачеркнуто: порнографической

— Вот направо от старухи с морщинистой шеей.

— Тише, на нас смотрят. Не знаю. Девушка в темном. Красивая. Чистое у нее лицо. И сидит серьезно, точно на большой перемене. Как на нее смотрит Гафиз!

— Еще бы, заметил.

Мимо прошла жена профессора с учеником своего мужа. Злословие обратилось на ее полноту и тщательно отставленные локти ее спутника, судорожно согнутые без привычной опоры письменного стола.

Между тем Гафиз действительно смотрел на Ариадну. Ее красота, вдруг возникшая среди знакомых лиц, в условном чаду этого литературного притона<sup>26\*</sup>, причинила ему чисто физическую боль. Какая-то невозможная нежность, полная сладострастного сожаления,— оттого, что она недосыгаема, эта девушка. Недосыгаема. Так думал Николай Иваныч пока Ариадну не пригласили читать. Она согласилась, и когда на ее лице выразилась вся боязнь начинающей девочки, не искушенной в тяжелой литературной свалке, и в руках так растерянно забелел смятый лист бумаги, в который еще раз заглянули, ничего не видя и не разбирая, ее мужественные глаза юноши-оруженосца, маленького рыцаря без страха и упрека,— Гафиз ощущил черное ликовение. Все рубцы, нанесенные его душой клыками критики в пору его собственного начинания; вся горькая слюна небрежения, которой награждали его ныне признанный талант когда-то сильные, старшие мэтры,— сладко заныли и заболели. Видеть ее, эту незнакомку с непреклонным стройным профилем какой-нибудь Розалинды, с тонким станом, который старый Шекспир любил прятать в мужскую одежду между вторым и четвертым актом своих<sup>27\*</sup> комедий<sup>13</sup>,— ее, недосыгаемую, и вдруг —на подмостках литературы, зависящей от прихоти критика, от безвкусия богемской черни, от одного взгляда его собственных воспетых глаз, давно отвыкших от бескорыстия. Это было громадное торжество, сразу уравнявшее его и Ариадну. Гафиз ясно ощущил падение перегородок, и одежда, скрывавшая ее темными складками, стала прозрачна; Мальстрём литературы вступал в свои права.

— Что она читает?

— Не знаю, что-то странное. Может быть, она социалистка?

Издатель был растроган, и он, и меценат, и критик, вышедший из моды, ныне применявший к балету свои философские познания<sup>14</sup>. Все они любили большое и бурное, любили бурю в разрозненных обломках искусства и в течение всей своей поплой и сырой жизни собирали коллекции потухших гроз и потупленных пожарищ в свои библиотеки, издательства и просто фельетоны. Старые авгуры слушали голос Ариадны, сожмутив глаза: они не ошибались. Какая-то смутная угроза<sup>28\*</sup> и мечтательная твердость в ее строфах и в ней самой. На сцене она стоит со своей поэзией, точно рыцарь с мечом на страже оружия накануне посвящения в высокое достоинство. И даже там, где стихия прорывала неискусную и непослушную форму, слова и образы сливаются у нее в целое весеннее бездорожье, где беспокойно и радостно гуляет ветер, и тает, и возбужденно пахнет землей. Стихи о Петербурге разбудили самых ленивых. Кумир, которому из года в год, из поколения в другое поклонялась северная столица,— Гигант на бронзовом коне,— вдруг возник перед слушателями, не один, как прежде, но в тесных объятиях другого Владимира, который, сидя на железном седле, обхватив одной рукой страшный стан Петра, другой искал опененные удила Коня. Безмолвная схватка между тихой вершиной Исакия, плоским карнизом Синода, покрытым дымкой снега и луны, и Адмиралтейством, где за высокими ночных окнами ни одна тень не увидит и не услышит протяжного свиста раздавленной Змеи, конского топота и биения живого сердца на Каменном. Кто этот поэзия Евгений, охвативший Кесаря руками, обжегший лавры на монументе.

<sup>26\*</sup> Слова: этого литературного притона — вписаны над незачеркнутыми, но взятыми в скобки словами: поэзии и моды

<sup>27\*</sup> Далее зачеркнуто: дивных

<sup>28\*</sup> Далее зачеркнуто: недосказанное осуждение жизни

тальном челе своим дыханием, осквернивший<sup>29\*</sup> скалу Фальконета? Может быть, просто бродяга или безработный, всю ночь блуждавший по каторжным линиям Васильевского острова, дошедший до отчаяния перед нескончаемым рядом закрытых ворот, хранимых «скифами» в косматых пубах? У, как суров к бездомным ветер на Троицком мосту, как он рвет и хлещет их черные фигуры, пробирающиеся по горбатому каменному пути под яркими шарами планет, нанизанных на вольтовы дуги фонарных столбов! Под этим светом дышат льды, мечтают сфинксы, но люди без дыхания остаются у узорных перил. Но если один из нищих перешел мост, ему не страшен Всадник. Он услышит стоны чугунного горла под своими руками, изорудованными трудом, и победит, и<sup>30\*</sup> *<с>* клочьями императорской тоги в руке, обагренной кровью полубога, ускакет, ускакет на освобожденном коне<sup>15</sup>.

Последние строки поэмы были покрыты аплодисментами. Ленивый меценат, колебля толстый живот между коротких рук, был друг о дружку розовыми ладонями и оглянулся на нескольких вполне корректных и бездарных молодых людей, зависевших от его пособий. Они присоединили свои хлопки, вяло, но демонстративно. Живописцы, не слышавшие ничего, но верные красоте, с радостью принесли свою лепту. Издатель бушевал, пользуясь общим шумом, чтобы не ответить навязчивой жене лирика. Хозяин кабачка, видя общее движение, постарался поднять его до той степени, когда за хорошее вино платят не считая и начинаются крылатые и неожиданные споры, дающие темы усталым пресыщенным беллетристам и заработок газетчикам. Но каста поэтов, строго подобранный цех<sup>16</sup>, недоступный влияниям минуты, связанный общими вкусами, хорошим гонораром и неписанным соглашением, которое лежит в основе литературной борьбы и гласит: сталкивай со стеклянного, скользкого шара всех ползущих и карабкающихся на него маленьких, слабых и одиноких, что бы они ни писали и как бы отчаянно ни цеплялись молодыми клыками за общественное мнение, ибо оно может оценить и прокормить немногих,— цех колебался — признать или не признать эту девочку, не обивавшую редакционных порогов<sup>31\*</sup> и, без предварительного искуса, без испытания нищетой и унижениями, пришедшую делить их успехи. Однако ожидать было некогда. В тени уже поднялась длинная и бледная голова Шилейки, чудака и прозорливца, полная тысячелетних грех<sup>17</sup>. Востоковед и ученый, он любил стих в оправе времени, видел Блока, пишущего рунами, размеренного Брюсова в рельефе на металлических кованых воротах Фив, Андрея Белого в тех неразгаданных письменных знаках, которые опоясывают обломки мертвых городов, памятники рас, исчезнувших с лица земли, или могилы друидов. Полный отвращения, Шилейко направился к выходу. Поэзия, пропитанная гарью близкого социального пожара, причинила ему физическую боль. И за ним жрецы чистого искусства опустили между собой и сценой непроницаемый занавес, их невысказанное порицание пахнуло в горячее лицо Ариадны сквозняком и серым туманом.

Высоко над толпой сидел Гафиз и улыбался. И хуже нельзя было сделять: он одобрил ее как красивую девушку, но совершенно бездарную<sup>32\*\*</sup>. Дама с ним рядом, счастливая возлюбленная поэта, выразила сожаление. И тем не менее, на этот раз буржуазное общество, вопреки мнению своих обычных поставщиков красивого, против воли жрецов, поучающих интеллигентную<sup>33\*</sup> улицу из-за витрин богатейшего книгопродавца, решилось на самостоятельное увлечение: и рукоплесканиям не было конца.

В течение вечера, проходя между столиков своей простой походкой, Ариадна нашла нескольких отщепенцев, несколько колоколов с трещиной,

<sup>29\*</sup> Далее зачеркнуто: скалу Царей на берегу Невы

<sup>30\*</sup> Далее зачеркнуто: убьет мертвяка, повелевающего мечами и жизнями своих отдаленных потомков. Это неслыханное убийство (фраза не закончена).

<sup>31\*</sup> Далее зачеркнуто: не испившую унизительное питье лести

<sup>32\*</sup> Далее зачеркнуто: И многие повторили его

<sup>33\*</sup> Далее зачеркнуто: чернь



ЛАРИСА РЕЙСНЕРЬ.

## Мѣдному Всаднику.

Добро, строитель чудотворный.  
— Ужо тебѣ!  
Пушкина.

—Боготворимъ Гунны!  
Въ порфирѣ Мономаха  
Все — побѣждающаго страха  
Исполненный чугунъ.

Противиться не смѣю:  
Опять — ударъ хлыста,  
Опять — копыта на уста  
Раздавленному змѣю!

Но, возстающій рабъ,  
Сегодня я, Сальери,  
Ичислю всѣ твои потери.  
Божественный Арапъ.

Перечитаю снова  
Эпический указъ,  
Тебя ссылавшій на Кавказъ  
И въ дебри Кишенева:

„Прочь, и назадъ не смѣты!“  
И конь воссталъ, неистовъ.  
На плахѣ Декабристовъ  
Загрохотала мѣдь...

Петровскіе граниты  
Едва прикрыли торфъ —  
И править Бенкендорфъ,  
Гдѣ правили Хариты!

## «МЕДНОМУ ВСАДНИКУ»

Стихотворение Л. Рейснер и иллюстрация И. Юдина к нему  
«Рудин», 1916, № 8

через которую течет благовест горя и одиночества, несколько молодых поэтов и художников, и просила их о сотрудничестве. И когда поздно ночью ее провожали домой через длинные, снежные, безлюдные кварталы студентов, громоздких конок, огибающих пустынные углы с оглушительным звоном, дребезжаньем и гиканьем, трактиров, мелочных лавок, деревянных лачуг и новых, высоких каменных домов, полных свежей сырости и электрического света, в привале, уже почти пустом, за чашкою черного кофе издатель крупной либеральной газеты рассказывал своему другу об Ариадне, ее отце, их необычайной семейной истории <sup>18</sup>.

&lt;3&gt;

Первый этаж: он темный и приличный. Из двери под лестницей выглядывает швейцариха, пахнет спертым запахом нищеты, немытых целенок и лифта. Во втором брезжила луна. Второй этаж — чиновный. Он уходит на

службу в половине девятого, шьет всем дочкам новые шубы на рождественские прибавки и танцует по субботам под граммофон. В третьем приоткрыта дверь в чью-то прихожую: уходят поздние гости. Здесь недавно умер паралитик, устроила огромный скандал француженка-артистка, немолодая, толстая. У нее сын лгунишка, и на олимпийских играх во дворе его за трусть и фискалство жестоко бьют дворниковые дети.

Еще выше — старый адмирал в отставке, бедняк, у которого три дочери — незамужние и немолодые девушки — и по субботам чудные дуэты скрипки и *«рояля»* Грига. Скрипка служит где-то в банке и давно потеряла надежду на бледные губы, потупленные глаза и тонкие пальцы, испорченные стиркой и огнем плиты и стыдящиеся своего труда. Но по субботам в гостиной, украшенной японскими веерами и инкрустированными черными шкатулками, привезенными адмиралом из плавания много лет тому назад, за пюпитром и нотами оба — скрипка и рояль — встречаются и бесплотно любят, пока зеленая весенняя звезда, выйдя из-за крыш, не проплынет узкой полосы неба над провалом сырого, темного, вонючего двора. Григ ликует, и наверху, в 5-м, в своей комнате, полной книг и особенного запаха детской, который все еще держится в пикейном с розами покрывале постели, в простом и чистом белье подростка, в занавесках окна, — сидит и плачет в синем бархатном кресле девушка. Отчего? Волосы ее распущены на ночь, платье снято, и от него пахнет модными духами, воздухом сигар, воздухом кабачка на Михайловской площади. Подымет голову, послушает заглушенные стенами гаммы и опять плачет. В комнате рядом проснулся Гога<sup>34\*</sup>. У него длинная, до пят, тоже еще детская ночная рубашка, из ее ворота, обшитого розовой каемкой, стройно белеет юношеская шея, но лицо серьезно, как это бывает у очень чистых<sup>35\*</sup> детей.

— Ларочка<sup>36\*</sup>, отчего ты плачешь?

Он садится на постель и тоже слушает. Потом, раскачиваясь немножко, начинает ее любимого Орфея. В шестом классе его учат все: и долговязые, преждевременные гимназисты с черными усами и нечистым цветом лица, и первые ученики, и последние, но никто не умел, кроме Гоги, читать об Орфее, о чистом ручье, о трепетных листах ивы и благодатном древнем небе, плененном его игрой<sup>19</sup>.

Аriadна вытерла глаза, заулыбалась, потом ей захотелось лечь и скорее уснуть. Но сперва они немного еще повозились, стащили на пол одеяло с розами и подушки, и Аriadна рассказала о вечере, о своем успехе, о журнале.

Гога вспомнил:

— У мамы в столовой есть сладкое.

Разве может быть что-нибудь лучше раковин с кремом, если они заперты на ключ, но достаются через верхний ящик, где набросанные друг на друга карточки родственников придают всей авантюре такой солидный и таинственный вид. По коридору идут тихонько мимо маминой спальни и вдоль правой стены. У левой стоят безобразные оставы деревянных рам для сушки занавесок. На них *«осенью»* и перед Пасхой<sup>37\*</sup> натягивают нежные, влажные, пахнущие крахмалом и чистотой тюлевые занавески, нитопанные в ста местах, купленные за границей еще до Гогиного рождения, но все еще девственно-свежие после распятия на широкой раме. Когда-то, очень давно, прачка, пересчитывая осенью эти пепельные от пыли и усталости нежные ткани своими руками, разъеденными щелоком, кипятком и морозом, и учитывая необычайно чистый вид квартиры на пятом этаже, запросила за них мойку чудовищную цену в пять рублей. Прячу, конечно, отвергли, и с этих пор занавески стираются дома. Есть целый ритуал, строго и добровольно соблюдающийся, в котором принимают участие все — от папы до фокса Бубли-

<sup>34\*</sup> Далее зачеркнуто: ее брат

<sup>35\*</sup> Далее зачеркнуто: и талантливых

<sup>36\*</sup> В машинописи: Арочка

<sup>37\*</sup> В автографе описка: весной и перед Пасхой

ка. Сперва в кухне появляются огромные чаны, полные горячей воды, и до самого кабинета в течение трех дней проникает неприятный запах мыльного пара. Это самый трудный период. Мама исчезает на кухню, превращается в ретивую «прач», дом полон запустения и откликов бурной и фанатической борьбы с грязью, которую совершенно одна ведет мужественная прач. Книга, которую ей обычно диктует отец, забрасывается, дети разнужданию наслаждаются свободой, фокс спит в неубранной постели. Но когда в чистых чанах заголубеет синька и нежный шафран по капелькам просочится через тряпочку в стакан, когда в ванне, как белые кружевные водоросли, расстилаются и чуть дышат занавески, вымытые, выкипленные, трижды опущенные в чистые холодные струи, — тогда начинается самый обряд. Второе действие его происходит в столовой, в нем участвуют рамы, дети, кнопки, рассыпанные по полу и вонзившиеся во все подошвы, и, наконец, лестница и на ней профессор, стоящий на вершине с молотком, гвоздиками и карнизом в руках. Утром солнце золотит старые занавески и сквозь их сказочный узор поливает светом и радостью вялую, но любимейшую пальму профессора, постоянно теряющую листья, голую, как перст, и изнуренную частыми поливками и пересадками. Профессор не позволяет, но дети все-таки называют это растение «штык».

Мальчик зажег электричество, раковины оказались на месте, были уничтожены, и с первыми синими тенями утра в детской водворилась тишина. На шкафу, в футляре от скрипки, дрогнула и разорвалась струна, скрипнул пол, и пришел сон. Но прежде чем настали более отчетливые звуки дня: прежде чем метла во дворе правильными полукруглыми взмахами снесла выпавший за ночь снег; прежде чем газетчик хлопнул примерзшей парадной дверью и оставил на столе, закапанном чернилами, пачку писем и газет, между которыми была повестка из банка на вексель профессору в 300 рублей, — повестка, из-за которой он всю ночь мучился бессонницей; прежде чем дворник с багровой щей и замерзшим потом на затылке и груди втащил на самый верх, в прачечную, свою ежедневную нечеловеческую вязанку дров, — Ариадна еще раз открыла глаза.

— Гога!.. Гога, ты спишь? — Тишина. — Знаешь, там был один поэт, у него такие странные глаза. Он ничего не понял в стихах. Ах, почему мы такие одинокие — и папа, и теперь я? Гога?

И уснула.

〈4〉

Утром пришли мальчики с новостями из университета. Стоя за дверью, Ursin<sup>20</sup> терпеливо ожидал, пока в комнате Ариадны сперва стукнут каблучки ночных туфель, потом скрипнет створка зеркального шкафа, где рядом с единственным бальным платьем, завернутым в простыню, и старым гимнастическим висит чесучевый халат, вышитый васильками. Лис ждет еще спокойнее: он мистик, фаталист и мечтатель, его тонкое и некрасивое лицо ученика совсем прячется за удивленно круглыми очками.

— Ursin, вы тут? — Да, он тут, конечно.

Она встала, причесывается, — теплая, взъерошенная, одна щека розовее другой — от подушки.

— Ursin, а что он вам сказал, да расскажите же подробнее, все сначала! Неужели первый поклонился?

— Да, первый, среди целой массы студентов.

— И руку подал?

— Да.

И медленно, прижав желтый тяжелый лоб провинциального дьяка к юбке, Urs рассказывает сказку, случившуюся наяву в самом светлом, традиционном и почтенном коридоре университета.

Так вот, между девятой аудиторией, отводимой только признанным удачникам или старикам, давно выжиненным из ума, и запущенным от критики

орденом, дряхлостью и педелями, и огромной доской, на которой вывешивают свои часы угодливые «оставленные при», голодные доценты с 33 рублями жалования в месяц, и наконец, еретики, самые опасные люди — молодые ученые. Собственно, страх перед этими последними давно уступил место некоторой величавой брезгливости. Обремененные семьями, вынесшие глухую и неутолимую тоску по Европе из недолгой и нищенски оплаченной заграничной поездки, они ществуют по коридорам в потертых сюртуках, отыскивая свою темную аудиторию с тремя-четырьмя слушателями. Кассир, выдавая 20 числа скучное содержание молодым ученым, каким-то особенно витиеватым и развязным жестом выбрасывает им из оконца несколько бумажек (и обязательно 37 копеек медью) и подает такое обрызгивание черно-серое перо, точно им должно расписаться в своем вечном добровольном отречении от всякого света, от милой славы, даже от науки.

Ursin говорит:

— Он вышел из девятой, конечно, со свитой. Впереди всех Яблонский — этот мерзавец опять надел сюртук — и все остальные. Кто несет книги, кто записки, а кто просто одну только улыбку на лице — вот такую.

Urs показал за дверью.

— Они уже поравнялись со мной, — конечно, никто не узнал и не поклонился, — как вдруг Лев отстраняет рукой какого-то восхищенного провинциала и обращается ко мне, подходит — вы знаете его ясную, безоблачную, самую лукавую улыбку — и долго жмет руку<sup>21</sup>.

— А вы, Urs, а вы?

— Я ничего, сделал поклон, какой вы учили, — для престарелых дам, возле которых нельзя закурить, — и жду. Он меня спросил о Михаиле Андреиче — кажется, говорит, профессор не совсем здоров — вероятно, переутомление? Пишет книгу? — Если не ошибаюсь, разбор моей теории с точки зрения марксизма<sup>22</sup>. Очень, очень интересно. Надеюсь, не слишком строго, а?

— И больше ничего?

— Ничего. Опять улыбнулся, пожал руку и исчез, сопровождаемый большими стадами.

Лис засмеялся.

— Вы знаете, ведь Петражицкий охотник.

— Что?

— Охотник. У него новенькое ружье монтекристо, и ежедневно после занятий он выходит с ним на крыльце, посыпает на ступени пшеницу и ждет.

— Лис, вы сочиняете!

— Нет, он действительно ждет, пока к его ногам не слетятся голодные птахи, и затем стреляет в них, почти без промаха. И прищуривает при этом один глаз, знаете, так спокойно и добродушно, как на лекции о праве, должном и сущем. Вот как.

Дверь открылась, Лис вошел первым и, сидя на ковре с поджатыми ногами, в позе своих любимых йоги, открыл том Канта, которым в качестве пресса прижимались на ночь Ариаднини воротнички, и с неудовольствием его захлопнул.

— Вы опять читаете этого вредного старика. Какая страсть к земле и рапию!

В следующую минуту Urs сидел на нем верхом и, держа его за худенькие плечи, предложил вступить в мирные переговоры:

— Ты сдаешься, дрянной мистик, или нет?

Лиса еще пощекотали, чего он не выносил.

— Скажи громко два раза, что добровольно понесешь сегодня на рынок мамину вышитую торбу.

— Хорошо.

Лису отдали его пенсне.

— А помните вы Павла Сильванского?<sup>23</sup>

Стало очень тихо. Urs сложил на коленях свои большие плебейские руки, точно они не могли ему больше помочь.

— Да, если он стреляет воробьев из монтеクリсто, этот великий ученый и либерал, то может, конечно, уничтожить и человека.

— Ах, зачем папа затеял эту критику?

Лис вспомнил:

— Он воспитанник иезуитской школы, Петражицкий. Обратите внимание на догматическую логику и странную манеру вести спор в форме диалога. Эти приемы всегда казались мне несколько подозрительными.

— Какое белое лицо было у Сильванского в последний раз. Ариадна, вы не были на этой скандальной защите? Весь синклит был в сбое. Старый Грибоевский, почти глухой, со следами своих грязных анекдотов на лице<sup>24</sup>, потом Грузенберг младший, любимец курсисток, торговец сладким лимонадом из вечноженственного, Ницше и Льва Толстого<sup>25</sup>. Молодые либералы, которые изучают русский парламентаризм, блаженно не замечая участков, еврейских погромов и монопольки.

— Urs, не ругайтесь.

— Оставьте, меня душит злость!

Он взял ее руку, нагнулся, закрыл глаза, и его неровный цвет лица стал еще темнее.

— Затем были, конечно, историки. Эти подобные патриархам в своем простодушном и величавом невежестве.

— А статский советник?

— Да, и он, в мундире лицея, со своей грациозной и двусмысленной усмешкой. Славный черносотенец, и притом какая изумительная начитанность! Остальные — просто профессора, сорок и тридцать лет тому назад написавшие жидкие диссертации при помощи немецкого магги<sup>38\*</sup>, разбавленного славянофильством. И перед этой-то публикой выступил Сильванский со своей благороднейшей, новой, молодой теорией. В первом ряду его жена, маленькая, обглоданная нищетой, с руками, красными от стирки, но в самых чистых крахмальных воротничках и перчатках, пахнущих бензином. Пока говорил Сильванский, ее лицо медленно молодело, и, как тень облаков, по нем скользили заботы многих лет, молодость и женственность, принесенная в жертву мужу, детям и книге, писанной по ночам, слезами и огнем всего ее существа. Жены профессоров вокруг, впереди других ректорша, прочная и важная, как мясорубка; белые колонны актового зала, зеленый стол, множество студенческих молодых лиц — все это как во сне. И как с башни, к ней доносится давно знакомый — и теперь такой чужой, повелительный голос. В нем воскресают столетия, шелестя парчой и оружием, с древних стен на снега падают черным роем заостренные стрелы или течет лазоревый, медовый, ликующий звон колоколов. Не зная истории, смутно связывая числа, имена и лица в одно последовательное целое, жена все-таки чувствует смелое величие и неоспоримое господство над временем, усталостью и страданием этой книги, которую так опасливо и небрежно перелистывает мадам Ключкова, жена известного филолога. Выходя ранним утром на рынок за крепким и холодным кочаном капусты, хрустким в своих беловато-зеленых объемистых листьях, за рыбой, которая потом медленно и долго дышит в чану, за терпким сельдереем и горячим хлебом, Сильванская часто думала о возникающей книге. И наблюдая отчетливые силуэты городских вершин на прозрачно-сером утреннем небе (небо Александра Бенуа), ясно чувствовала, насколько каждая страница важнее и новых башмачков для детей, и неумолимо возрастающего счета у мясника, рассекавшего туши и кости без усилия и с каждым днем все нетерпеливее заносившего в проклятую маленькую книгу число долга своими окровавленными пальцами, — и даже ее самой, давно увидшей, никогда не наслаждавшейся музыкой иначе, как с галерей, и не носившей ни кружев, ни тонкого белья, ни изящной обуви. Смутно, с нежностью преданного животного и безмолвной интуицией мученика ожидала она какого-то конца, какого-то судного дня, когда преждевременная седина

<sup>38\*</sup> Maggi — название бульонного концентрата, изготовленного в виде кубиков.

ее мужа и близкая, с каждым серым годом все более близкая пелена забвения и пустоты, должны же отдохнуть, вознаградиться, растаять. В чем выразится этот почти детский, елочный, безумно и пестро счастливый конец их жизни, она, конечно, не знала. Может быть, звякнет кухонный звонок, на шнурке которого всегда сохнет столько выстиранного белья, и на пороге, отстраняя дверной крюк, в облаке пара и чада появится круглое, сияющее лицо ректора, и он протянет ей, детям, грязнейшей Маше и Павлу, который колет дрова в своих старых, худших штанах, всю свою пухлую руку, всю, а не обычные три пальца. Как знать? Будут, наконец, деньги: из них десять рублей вернуть доктору, у которого большая пустая квартира для представительства, еще большая семья и никаких пациентов. Доктор тогда напьется и будет говорить о Швейцарии, о Лассале и о красоте. Летом согреет солнце задний двор, подоконник в детской, кусочек пола в прихожей, между двух книжных шкафов. Или даже они выедут на дачу? У Сильванской сердце похолодело от такой смелой мечты. Уже много лет ее семья не знала летнего отдыха, речки, леса, запаха земли — этой неприхотливой пригородной природы, имеющей такое животворное влияние на мозги, усыпленные и разъединенные городом, на нервы, затравленные нищетой и творчеством. Помнится, очень давно, в первые годы брака, они провели лето в Сестрорецке. И до сих пор, раздеваясь по вечерам в пустынной и сырой спальне, она искала на своем теле, покрытом от холода гусиной кожей и от дешевого мыла каким-то пепельным налетом (такой налет бывает у золотых рыбок, когда они живут в тесной банке и несвежей воде, точно бело-синеватый пушок облепляет их тонкие чешуйки, ползет к жабрам, к чеканным глазкам), искала следов загара, густого, золотисто-розового солнечного ожога, давно исчезнувшего, давно поблекшего, на своей обвислой груди, на мертвых плечах.

Сильванский давно кончил свою речь, сел, вытер с лица пот, поправил съехавший набок галстук. Объявили перерыв. Вокруг Алины Ивановны загремели стулья, и нервное возбуждение толпы слилось в тот разговорный гул, за которым хорошо воспитанные люди прячут свое отношение к новой идеи. Ей стало страшно. Раз Павел кончил, они, все эти люди, должны с ним согласиться, немедленно признать его право или тут же отвергнуть, прямо и просто, все четыреста страниц его «Истории».

А вдруг провал? Почему у ректорши такая сладкая улыбка, а Грибовский красен, неподвижен и со своими апоплексически надутыми жилами похож на кирпич, готовый сорваться со стены на чью-нибудь голову?

Проходя в курильню, молодой студент сказал другому:

— Это гениально.— И на него, как на сумасшедшего, обратились десятки глаз.

После перерыва начались прения. И так как первые оппоненты были любезны и спокойны и по их улыбающимся лицам нельзя было угадать всю уничижающую тупость критики, Сильванская спокойно вернулась в состояние блаженного полусна, направляя от времени до времени поток лущащейся душевной теплоты и ободряющей надежды мужу, который сидел за зеленым столом страшно белый и страшно покойный. Все вокруг него разрушалось. Каждое возражение отламывало кусок от живого здания, им воздвигнутого. Он почти не слушал. Острая боль и пустота, которую он ощутил в первое мгновение, увидев себя совершенно одиноким и непонятным на голой вершине своего скорбного знания, уступила место какой-то музыкальной тишине. Сознание, оглушенное сразу, заволакивается божественным туманом фантазии. И образы иного порядка, ясные, простые и счастливые, похожие на елки, занесенные снегом, бесшумно стряхиваются на землю пригорни белых звезд и камней. И своя книга, из которой каждый спорщик как бы старался вырвать новую страницу, чтобы ее смять и бросить, заняла свое особое место в мире полусознательных, мудрых, колыбельных грез. Книга — это просто пряничный домик, за одну ночь выстроенный в лесу играющими ангелами. Из трубы выстает медянный дымок, на оконах цветные ставни, и из-за них выглядывает его жена Алина Ивановна. Да мер беля-



Диспут г. Круммана въ Петроградскомъ Университетѣ. (Слѣва на право: гг. Крумманъ, Тарле, Э. Гриппъ, Н. И. Карбъевъ, г-жа Добиашъ-Рождественская).

И. СМИРНОВЪ

### О выѣденномъ яйцѣ или одинъ изъ многихъ.

(По поводу диспута г. Круммана въ Петроградскомъ Университетѣ).

Молодой человѣкъ зналъ за собой великое достоинство: онъ былъ трудолюбивъ. Когда еще въ гимназіи ему задавали выучить одну страницу, онъ обязательно выучивалъ двѣ. Когда надо было переписать пять строкъ, онъ рѣшительно переписывалъ десять и этины весьма радовалъ учителя чистописания.

Другой его добродѣтелью была любовь къ кому и ни на что неعنѣмъ вѣщамъ. Поэтому онъ никогда не былъ замѣченъ въ куреніи, или чтеніи запретныхъ книгъ. Но за то у него хранились съ измѣльствомъ прекрасныя коллекціи старыхъ пуговицъ, ржавыхъ гвоздей и газетныхъ вырѣзокъ о пиллюляхъ „Ара“.

Когда онъ выросъ передъ нимъ встѣль роко-

надо было еще написать и защитить диссертацию. Но и здѣсь мудрые люди пришли на помощь академическому птенцу и рассказали ему, что такое диссертациія.

Это такая книга, которая вѣсить семь пудовъ, написана о ненужныхъ вѣщахъ и на каждой страницѣ имѣть сотни примѣчаній, показывающіхъ изъ какихъ щелей, старыхъ заброшенныхъ ямъ и мусорныхъ кучъ выбиралъ авторъ свое крохотное свѣтѣніе о пустопорожнемъ предметѣ.

Самая лучшая тема—это какаянибудь общепризнанная истинка: самые лучшие источники, которыхъ никто и не знаетъ и знать не хочетъ.

И молодой ученьи выбиралъ тему—онъ написалъ 70833 страницы съ 100361 примѣчаніемъ о скор-

### «О выѣденномъ яйце или один изъ многихъ»

Памфлет и карикатура на ученый диспут въ Петроградскомъ университете

Автор памфлета — М. А. Рейннер (подпись: И. Смирнов), автор карикатуры — Е. И. Праведников (подпись: А. Топиков)

«Рудинъ», 1916, № 5

чья душегрейка и на рукахъ старые лайковые перчатки, на концахъ подштопанные и пахнущие отъ чистки бензиномъ. Пряничный домикъ стоитъ совершенно один. Вокругъ него непроходимая чаща, стужа, белизна, прозрачность и безмолвие.

Между темъ профессора, выведенные изъ терпения безразличнымъ и мечтательнымъ спокойствиемъ Сильванскаго, перешли къ более резкимъ нападеніямъ: съ самаго начала раздраженные методомъ его мысли, его необычайной интуиціей, позволявшей угадывать и утверждать самые отдаленные обобщенія, они теперь обрушились съ кирками и лопатами догмы и устарелого права на кружевные мости его логики, протянутые надъ пустотой. Прежде всего старый Грибовский, у которого отъ искреннаго гнева получилось сходство съ Силеномъ Рубенса, румянymъ и седымъ, толстобедрымъ и съ фальстафовскимъ животомъ, полнымъ вина и обросшимъ шерстью; цинический материализмъ лекаря и грубое красноречие бродячаго проповѣдника создали ему имя. Когда онъ, вызвавъ смехъ слушателей, сошелъ, наконецъ, съ кафедры, Сильванскій не могъ

удержать улыбки, так ясно показалось ему, что Силен, мучимый непостижимою тяжестью в желудке и изжогой, скрылся за его чистый пряничный домик, чтобы в его спокойной тени по древнему обычаю облегчить свои излишства. И при этом он отломил большой зубец, свисавший с веселого карниза. Все дело защиты приняло вдруг в глазах Павла комический оборот: каждый из возражавших казался ему лесным чудом, занимавшим кафедру только затем, чтобы обглядеть крылечки, разломить стены, облицовки и наличники его сказочной и беззащитной храмины. Скоро от нее ничего не остается, кроме разоренного основания. Впрочем, сохранив спокойствие, Сильванский, обычно болезненно обидчивый и гордый, поступал как нельзя более благоразумно и совершил в духе обычных диссертаций. Всякий молодой ученый, вступая в ряды официальных жрецов, после долгих домогательств, отсрочек и унижений допускается, наконец, к публичной защите. И на этой защите в течение нескольких часов его творчество и даже самая личность подвергается некоему обрядовому посрамлению и надругательству. Все это совершается почти механически. Старые профессора, разжигая себя спорами, в последний раз изливают на покорную голову прозелита полноту своей власти, невежества и острого беспокойства за возможное в будущем соперничество. Весь обряд последнего уничижения заканчивается в конце концов двусмысленным признанием «некоторых, хотя и очень незначительных, заслуг», поздравительными объятиями и, наконец, парадным обедом, на котором свежая грязь диспута смывается с головы нового профессора потоком <sup>39\*</sup> речей, вина *(и)* жирных соусов. Таков обычай. И Сильванский, оглушенный сразу, как животное, влекомое на бойню, и затем овеянный горячечными крылами фантазии, благополучно приближался к обычному, счастливому концу трехчасового ученого позорища. К сожалению, его взор, отдающий за окнами актового зала на голубых плитах невского льда, свежевырубленных из полыни, сверкающих на солнце и свозимых крохотными, медленно ступающими лошадками в город, подобно исполинским бриллиантам, как-то нечаянно оторвался от этого мирного зрелища и остановился на лице Алины Ивановны. Ее черты выражали отчаяние. Сильванский весь съежился и пришел в себя. И вся скучная и бесстыдная явь этого утра, посвященного унижению науки, нелепость самого сбираща и воинственная глупость речей бросились ему в голову с силой дешевого папитка, способного свалить с ног извозчика. И, забывая всю ненужность споров, их вред и бессмыслицу, несчастный Сильванский, задыхаясь, чувствуя холод и дрожь во всех членах, бросился в спор со всей солнечной яростью, с ледяным, бешеным спокойствием человека, которому суждено смерти с лица земли целые горы нелепостей, — без надежды на победу, но с решимостью схватить за горло самого белого, толстого и велеречивого лгuna, который возвышается за зеленым столом в виде ректора. Кроме голоса научной совести, который ожидал и заговорил в сердце Павла, как прежде — на протяжении столетий — этот голос воспламенял и гнал к гибели Бруно, Леопарди <sup>26</sup> и первых великих скептиков, — была и еще причина, почему обычный праздник науки на этот раз оказался испорченным неистовым сопротивлением диссертанта.

В первом ряду, среди профессорских жен, мирно доивших, подстригавших и уютно обезвредивших творчество своих мужей в семейном стиле, среди безмолвных книг и неисполненных юношеских обещаний, воздвигших алтарь детских пеленок, приспособления и преферанса, сидела жена Павла. И перед Алиной Ивановной, всю свою жизнь пожертвовавшей для книги и жившей ради будущего признания, Сильванский не мог вынести ни унижения, ни этой нелепой критики. На лице своей жены он прочел целую печальную поэму: ее начало терялось в поседевших висках и, с каждым биением болезненной жилки, повторяло: «неужели?». Неужели все напрасно, все неверно? Нет ни гения, ни великих открытий, ни, наконец, признания? Неужели она только Санчо Пансо при новом научном Дон-Кихоте, всю

<sup>39\*</sup> Далее зачеркнуто: лживых

жизнь прошагавший за ослиным хвостом и доживший — о, стыд и тоска! — до справедливого разоблачения? Ответ, трепеща, таял в ее глазах, наполняя их слезами. В этих слезах то расплывалась в мутное пятно, то сморщивалась в комок полная ректорша, и вся зала, и Нева за окном. При первых словах Сильванского, вдруг вставшего во весь рост, чтобы защищать себя и свой труд, эти слезы высохли, и, переплетая судорожные пальцы в облезлой, теплой, мохнатой муфте, Алина Ивановна превратилась в королеву на высоком балконе, перед которой сражаются во имя чести и красоты. По временам она глубоко и протяжно вздыхала, стараясь захватить как можно больше воздуха, как вздыхает пловец, еще очень далекий от берега и желающий сохранить свои силы. Она чувствовала — только для нее былся Павел. Только для нее он подымал с земли исторические руины и, среди праха и пыли, выносил к свету нежные полупрозрачные, едва окрашенные ростки древней мудрости. Для нее подымался на мертвые вершины, чтобы показать бесконечность, лежащую вокруг, пронизанную светом и одетую льдами. Через всю европейскую историю Сильванский прошел, как знаменитый крысолов со своей заклинающей флейтой через спящий средневековый городок, полный лживых и неблагодарных людей<sup>27</sup>. И как за тем ушли все дети, привлеченные певучей, жестокой флейтой, так за ученым из небытия и забвения последовали его не знаемые никем предшественники. Везде, где когда-либо подымался ропот возмущения, везде, где человечество пыталось перестроить свою социальную жизнь, Сильванский искал и находил соратников. Они говорили и свидетельствовали за него на вымерших и забытых языках, принося с собой пепел сожженных городов и тени детей, казненных за непослушание родителям<sup>40\*</sup>.

И чем яснее выступала из-за схоластической лжи и неумышленного, экстатического тумана метафизики какая-то новая непреложная истина, чем величественнее казался процесс исторического развития, единый, идущий к ослепительной конечной цели, похожий на акведук со всевозрастающими крепнущими арками, — тем более таял, становился фальшив и прозрачен<sup>41\*</sup> призрак государственности, без которого ни одной минуты не мог бы простоять весь храм науки, и полубалльный актовый зал, украшенный по хорам пыльными бархатами, кистями из тяжкого золота и двуглавыми орлами.

Между тем, с простотой и легкостью, которой позавидовал бы господин Берже<sup>28</sup>, Сильванский как бы анатомически вскрывал и простодушно исследовал именно эту часть<sup>42\*</sup> идеологии, которой пронизаны все двигатели и проводники государственной механики, как части машины — смазочным маслом. Итак, разложивши перед собою на кафедре таинственную сущность власти и не замечая напряженной тишины, которую слушатели встретили его кощунство, профессор занес свой нож и разрезал идеологическое сердце, опустил руку в глубокую пробоину, нанесенную его логикой, и, готовясь извлечь из юридических и мистических недр философский камень, тайну тайн, органчик, при помощи которого управляет человечество, Сильванский снял очки, и своими бледноголубыми, без ресниц, страшно беззащитными глазами обвел лица слушателей. Затем, сильно рванув вет-

<sup>40\*</sup> Далее зачеркнуто: Средние века и Рим, Израиль, Греция и Северная Африка, и, наконец, новая эра — Сильванский шагал быстрыми шагами, и за его плечами слушатели увидели поля Иерусалима, три тысячи лет тому назад проданные ростовщикам, все великое богатство и нищету Аттики, раздавленной Востоком накануне величайших социальных преобразований, божественную комедию Средних веков, освещенную инквизиционными кострами, прошитую насквозь красным шнуром крестьянских восстаний. И, наконец, уже не владя собой, он бросил им в лицо могилу коммунаров, пустынную стену «Père Lachaise», украшенную редкими венками, и коснулся всей современной конституционной Европы, ее избирательных законов и предвыборных подлогов, сословного буржуазного права, науки и искусств, растлеваемых плутократическим государством, — словом, перевернул и разбередил политическую и социальную яму, гниющую посередине европейского человечества.

<sup>41\*</sup> Далее зачеркнуто: двуглавый

<sup>42\*</sup> Далее зачеркнуто: величайшей

хую ткань государственной науки, Павел извлек из ее пыльных лохмотьев: таинственную душу веков. Видели ли вы медузу, умирающую во время отлива на влажном песке? Видели вы паутину, которой заткны сводчатые потолки и старинные люстры? Или, наконец, тяжеловесные и вместе с тем невесомые остаты первых летательных приборов, изобретенных много столетий тому назад и так дивно *(изображенных)* Мережковским в его трилогии,— смесь ржавых рычагов и воздушнейших, стрекозьих перепонок из слюды, стальной нити и шлифованного металла?<sup>29</sup> Так вот — смесь всего этого: грубой силы, плавающей в крови, и тончайших паутин духа<sup>43\*</sup>, слова молитв, рыдания поэтов, гнев пророков — и все это вместе, рядом, на ржавой нити мирового механизма, в пляске идеологий, в борьбе сильных и сильнейших за могущество, то в качестве нелепых девизов, полных лжи, поднятых на чужое оружие и чужие доспехи, то в виде тонкого яда религий, усыпляющего бурные века восстаний, то, наконец, на переплете нелепых законов, посылающих смерти все живое и правое. Христос, превращенный в христианство, Христос, тяжелым распятием которого церковь в течение многих веков разбивает головы восстающим,— и на другом полюсе Ницше, ненавидевший сильных и сытых, мудрый и безумный Заратустра, переваренный и усвоенный как раз своими врагами.

— Не правда ли, смешно? — Сильванский прямо обратился к Кругликову, проходившему мимо кафедры к дверям, с глубоко возмущенным видом.

— Это смешно. Но в борьбе за господство над рынком, будь то в области кораблестроения или изобретения новых, еще более ужасных орудий борьбы, чем ядовитые газы и стрелки<sup>44\*</sup>, сильные классы пользуются для своих вывесок, боевых кликов и для оправдания собственных правонарушений, хотя бы и зияющих, самыми чистыми и нежными созданиями человеческого духа. Нет музыки, стиха и краски, нет такого экстаза, одиночества и отречения, которое не было бы в конце концов употреблено современным обществом для начинки бомб, для обклейки стен в питейном заведении или для украшения тюремных решеток. И пока общество останется таким, каким оно есть, то есть полным социальной лжи и несправедливости, никакая философия, никакая наука немыслима. Между всякой мечтой, теорией, метафизической реальностью и землей остается промежуток лжи. О, довольно неприменимого совершенства, довольно кровосмешений между небом и землей! Боги хотят воскреснуть и воплотиться, земля полна и переполнена ими более, чем во времена гуманистов. Нельзя все знать и ничего не сделать. Нельзя тысячелетиями давать жизнь титанам и продавать их в вечное рабство. Нас задушат мечты, которыми мы насыщаем воздух, не давая им живой плоти. К нашим дверям идет Каменный гость нашего духа, чтобы судить и властвовать. Он не вернется на кладбище, к своей могиле. Нам придется взять его гранитную руку и выбирать между другой жизнью или полным, непоправимым разрушением.

Дальше был провал.

*<5>*

Альтшулер — старый еврей, владелец богатейшей типографии на Фонтанке<sup>30</sup>. Его заведение во дворе, лишенное света, живет под серым знаменем пяти труб городской электрической станции, дышит стоячей сыростью канала и отголосками мелкой торговой свалки, которая от Сенной стекает к Гороховой улице, как мутная вода по водосточной трубе. У Альтшулера широкий жадный нос и такие живые глаза за очками, что ночью они, вероятно, оставляют его дряблое тело, одни вспрыгивают на конторку и роются в засаленной расходо-приходной книге хозяина. Руки Альтшулера — это его душа; у них пухлое основание и короткие, толстые, все одинаковые пальцы

<sup>43\*</sup> Далее зачеркнуто: вырастающих на могиле побежденных, сияние истины, но превращенное в орудие обмана, грубой, страшной исторической мистификации

<sup>44\*</sup> Стрелки — снаряды массового уничтожения, применявшиеся немцами во время первой мировой войны.

с грязными ногтями <sup>45\*</sup>. Старшая его дочь горбата, сентиментальна и жестока. Младшая, Роза, одноклассница Ариадны, имеет хорошее приданое, которое отец всеми силами стремится увеличить. Роза учится в одной из аристократических школ Петербурга, где за большие деньги Альтшулера удалось купить веротерпимость для своей дочери. Роза говорит на трех языках, ее преждевременное развитие скрывается хорошими манерами и той интеллигентностью, которую доставляет беглое изучение искусства и литературы. Роза добра и задумчива, кажется, Гете, Вертер и Egmont оставили неизгладимый след романтизма в ее податливой душе, она плачет даже в классе, когда сухой и длинный француз, забывшись, надтреснуто-приподнятым голосом скандирует «Федру». В кромешную черноту своей мещанской жизни она навсегда унесет смутную тоску о высшем. С 14 лет Розу обожает ее богатый двоюродный брат, маленький, черный, с холодными деловитыми ручками. И с тех пор и семья и Роза все надеются, что ей не придется выйти за него замуж, что представится лучшая, блестящая партия, от которой не будет вонять деньгами и тяжелыми выкладками и тяжелыми каплями пота. Но годы идут, удачи нет, и братец Мотя из своего магазина каждый день провожает Розу облизывающимися, покорно-самоуверенными глазами, когда она с мисс идет в гимназию: в свой последний, седьмой, взрослый класс. Как беспощадны счета Альтшулера, начисто переписанные, снабженные гербовой маркой и всеми ухищрениями мелкой скаредности! Всякая копейка, собранная ими, утучняет Розины сбережения, каждый рубль отодвигает ее на некое, неуловимо-малое расстояние от Мотиных вожделений. Альтшулер жмет, и Роза изучает английскую литературу. Альтшулер нажимает еще сильнее, и на интимных вечеринках Роза с улыбкой смотрит в глубокое зеркало фантасмагорий, полное пляшущих теней, этих почти осаждаемых, вполне возможных принцев в лайковых перчатках и портупее юнкерского училища, в телесной оболочке лицея *«или»* *«училища»* правоведения. Альтшулер давит изо всех сил — и Роза почти счастлива.

Между тем на Зелениной постепенно сложилось, приобрело форму и реальную ценность то предприятие, на которое старый типограф возлагал смутные, совершенно необоснованные надежды <sup>31</sup>. Журнал под странным названием «Рудин», редакторами и сотрудниками которого являлись Ариадна, Топиков, Хитрово — словом, целое сообщество людей беспокойных, бедных до нищеты и блестящие талантливых <sup>32</sup>. Как согласился благоразумный Альтшулер на их скромные предложения, лишенные будущего, он бы и сам не мог объяснить, — в надежде ли приобрести много и легко, из желания ли сорвать шальной выигрыш с фантастической ставки, или из любопытства — кто знает? В его душе, темной, как задний двор типографии, среди мусора и копоти бродил свой крохотный торговый Робинзон, исполненный авантюризма и мечтаний: ничем не рискуя, Альтшулер решил попробовать. И однажды утром, в серые сумерки, при свете тусклых лампочек, понурые и истомленные рабочие приняли в свои ослепшие руки связку рукописей, которые предстояло набрать, как и всегда — не читая. В темных кассах запечелились темные буквы — машина начала свою работу.

## ⟨ФРАГМЕНТ II⟩

⟨1⟩

Итак, нужно было повидать Ефремова и продать ему «Рудина» на возможно выгодных условиях <sup>33</sup>. Предприятие почти невозможно. Из всех крупных и малых феодалов книжного рынка Александр Иванович имел репутацию человека беспощадно жестокого и богатого до такой степени, что самое угнетение печати уже не доставляло ему никакого удовольствия: оно приняло размеры предприятия, едва умевшегося в знаменитом Торговом

<sup>45\*</sup> Далее зачеркнуто: В поисках издателя Ариадна

переулке<sup>46\*</sup>. Так, на духе, поваленном на землю, Ефремов успел выстроить несколько домов с прохладными лестницами и лифтами, с тысячами конторщиков и рассыльных. И на самом лице побежденных идей он расположил свой кабинет, вечно пахнувший дымом сигар и особым затаенным волнением, которое приносили с собой крепко законтрактованные подчиненные и прислуга.

От Лоскутной гостиницы, где остановилась Ариадна, было не очень далеко до Торгового переулка<sup>34</sup>. Тем не менее утром того дня, когда назначено было деловое свидание, она проснулась очень рано. На неё, едва открывшую глаза, со всех сторон смотрело нагое и бесконечно трезвое лицо гостиничной комнаты. Такая комната спит днем, несмотря на громкие разговоры людей, одинаково равнодушная и к смертной тоске, и к звону чайной посуды, и живет она только ночью, блестя зеркалам шкафа, ясными никелевыми шарами кровати, белизной какой-нибудь одежды, брошенной на стул.

В восемь часов утра так холодно от чужой, шерстяной простыни, на которой наспех прижжены утюгом пятна случайной грязи, от тощего байкового одеяла, от широконосого кувшина воды, поставленного в пустую чашку умывальника так, точно тут никто никогда не жил, не умывался и не трогал двух тугих полотенец, висящих рядом на палочке.

Ариадна оделась с щепетильной чистотой и свежестью, важная сидела на греческом продавленном диване, куда ей подали кофе, и отправилась к Ефремову. О том, что сегодня должно случиться, она не думала, как в день экзамена об удаче или неудаче.

Уже на лестнице, возле телефонной будки, выдыхавшей в холодное утром весь спертый жар, всю прокуреннуюность своего обитого войлоком публичного рта, не остывшего за целую ночь, она почувствовала остроту и яркость, с которой ее душевые приёмники отмечали и этот заах, и дух заспанной швейцарской комнаты, стук выходной двери и синеватую скользкость обмерзлого порога. Хорошо ей стало на улице: в северных утрах всегда мерещится что-то греческое, что-то радостное и не русское. Ясно-голубой цвет неба ложится на плоские карнизы, белые от снега, так просто и отчетливо остаются на снегу следы полозьев — все вместе: и небо, и снег, и все следы на нем — изваяны, любовно вылеплены во имя радости жизни, во имя нежной и вместе твердой черты, отделяющей предметы друг от друга и от голубого пространства.

Однако вся цельность и уверенность Ариадны осталась у витрины магазина, блеснувшего на нее белой тряпкой, которой мальчик протирал стекло входной двери: точно пригрозил.

Ее волю как-то разняли на равные половины два потока людей, стремившихся в противоположные направления, две половины людной улицы, пересекающей Тверскую у подножия ее крутого подъема. Подходя к Торговому переулку, Ариадна взглянула на часы: 9 — слишком рано. И еще в течение целого часа, чувствуя холод и слабость в ногах, она бродила среди толпы и все думала о болезненной складочке, которая появилась на затылке ее отца. Странным образом эта морщина, означавшая и близкий конец, и безумную быстроту уходящего времени, казалась тесно связанной с Торговым переулком. Приди вовремя, сдвинуть большой тяжелый камень, в течение стольких лет давивший Большую Зеленину, — нужно было сделать чудо — дать голос и выражение целой несказанной, застрявшей в горле, проглоченной жизни. И во второй раз, у самого дома контрагентства, Ариадну переполнило смутное чувство силы. На снегу, у ступенек крыльца, она заметила лоток с грушами и возле них румяную бабу, закутанную в десять кудрявых овчин, от которых, как и от спелых плодов, сложенных ровной горкой, пахло нежно, молодо, чем-то невозможным.

<sup>46\*</sup> В первоначальной редакции (черновой автограф) переулок носит название Вахрушинского.

Контора Александра Ивановича помещалась на пятом этаже: почему-то богатые хищники любят эту высоту, которая среди миллионной суеты напоминает им униженное начало их приказчичьей или клерковской молодости.

Лифт, пустой, большой металлический ящик, бесконечно долго вползая наверх, гораздо медленнее, чем это делали когда-то крепкие, несколько голодные и жуликоватые ноги Александра Ивановича.

В прихожей конторы, несмотря на деловитую суету большого и как бы безразличного ко всякой политике коммерческого предприятия, все-таки веет нечто от «Нового времени».

Трудно сказать, в какой именно щели сохранился специальный<sup>47\*</sup> душок, которого не могли сполоснуть даже деньги, текущие здесь толстым и безличным потоком, одним из самых могучих в России.

Может быть, физиономии служителей оставались слишком серыми, все понимающими и как-то дурно измятыми временем: настоящие физиономии филеров в отставке, на покое и на чаевых.

Пока Ариадна доставала из мешочка свою гордую визитную карточку, на которой значилось: «Редактор журнала «Рудин», — рядом какой-то человек в сером неновом пальто и очень чистом высоком воротничке делал судорожные попытки задобрить привратника и добиться аудиенции. Говорил и спорил этот человек неестественно спокойным и тонким голосом, над которым так безнаказанно-широко ухмыляются все лакеи, все швейцары и писаря, поставленные для того, чтобы отцеплять от дверных ручек все эти бледные и судорожные пальцы с нечистыми ногтями, которые хватаются за светлые, металлические замки, как утопающий за край переполненной плюнки. Исчерпав все доводы, проситель достал из кармана полтинник, и Ариадна не могла не улыбнуться: так это движение было похоже на нее самое, когда она закладывала в ломбарде на Большом проспекте три знаменитые серебряные ложки, они же «фамильное серебро».

Как раз напротив, на желтом деревянном стуле, закапанном чернилами, поместился плотный господин. На его круглых широко развинутых коленях натягивались брюки, черные в полоску, а лицо не было собственно лицом, но белым, черным и красногубым аппетитом. Он даль рубль на чай, его здесь знали и должны были принять без очереди.

— Значит, я теперь с ними заодно, и этот черный господин мне страшно близок: соперник, конкурент. С ним и еще с сотней таких же я буду драться за «Рудина». Как странно!

И Ариадна ясно увидела, как ее и неудачника в сером пальто, и брюнета, и еще двух брюнетов, сонливо ожидающих в углу, со своим несвежим бельем мелких дельцов и сдвинутыми на затылок цилиндрами, сейчас поставят в ряд и занумеруют. Потом, когда все будет готово и брюнет отодвинет за назначенную черту свою полную ногу, плутовски выставленную, служитель пронзительно свистнет в свой старый полицейский свисток<sup>48\*</sup>, и вся толпа ринется бежать. Яркий газон, солнце, толстяк, скачущий жадными, задыхающимися прыжками, и легкий свист ветра, с которым она бы сама мимо него промчалась.

— Александр Иваныч вас просят.

Все еще немного улыбаясь этим бегам, вошла она в дверь, из которой только что вырвался очень бледный господин. От него пахнуло злобой и банкротством, и сидевшие в прихожей все немного прислушались ему вслед: не завоет ли он на пустой, приличной лестнице звериным, перешि�бленным воем?

Александр Иванович никогда не притворялся пишущим или погруженным в чтение, когда открывалась дверь его кабинета. Он любил видеть лица входящих, и особенно сейчас его глаза были живы, почти молоды, что слу-

<sup>47\*</sup> В черновом автографе: государственно-смердяковский вместо специальный

<sup>48\*</sup> В черновом автографе далее зачеркнуто: в который свистел когда-то возле Университета и при погромчиках



ЛАРИСА РЕЙСНЕР

Фотография. (Петроград, 1915—1916)  
Литературный музей, Москва

ление; но не боится и всю свою юношескую волю сожжет, как соломину, чтобы выплатить проценты на проценты.

К ужасу желтых деловых стен кабинета она даже осмелилась все это высказать вслух.

— Вы не хотите подписать это условие? Александр Иванович, никакое письменное обещание вам все равно не помешает меня надуть. А «Рудину» все-таки будет легче в течение первых месяцев с этим договором, по которому вы уже сейчас решили не платить ни копейки.

— Я вас не понял. Разве я собираюсь кого-нибудь ограбить?

Она рассмеялась.

— Господи, ку, конечно, а чем же вы занимаетесь вообще? Такой большой, славный разбойник<sup>50\*</sup>. И заодно с санкюлотами, вроде «Рудина», раздеваете белых, толстых торговцев духом, более трусливых, чем вы, и пока что более слабых.

Ефремов вспомнил своего недавнего посетителя и повеселел: «Вот славная девчонка! Пригласить ее разве пообедать у Яра?» — Но раздумал, видя,

чалось сравнительно редко. На письменном столе еще не остывали бумаги, разбросанные в беспорядке, эти клочья, вырванные из пушистой шкуры одного из самых ловких газетных волков, взятые с бою, с трудом, из сильной и обозленной пасти. В желтовато-серых глазах Александра Ивановича светилось «сорок % валового и возврат без ограничения», — когда он их поднял на входившую.

«Зачем только такие красивые женщины занимаются пустяками? А впрочем...» — и вслух он сказал сухо и любопытно:

— Пожалуйста, вот кресло, чем могу служить?

Аriadna, которая с самого начала не успела испугаться, изложила свое дело, и через несколько минут Александр Иванович знал, что у нее мало денег, еще меньше бумаги, совершенно оригинальная идея и что ей не больше 20 лет<sup>49\*</sup>. При всем том зоркий его разбойничий глаз приметил за ее плечами ясного демона, который охраняет и иногда приносит удачу совершенно новым и совершенно невозможным затеям.

Ефремов уже собирался, без всякого, впрочем, удовольствия, расставить какую-нибудь глупую, первобытную ловушку, из тех, которые сразу щелкают по голове и даже не пахнут кусочком сала, когда девушка вдруг перестала излагать свои бедные трехзначные цифры и одной легкой улыбкой сказала, что видит и пружину мышеловки, и его, Ефремова, циническое сожа-

<sup>49\*</sup> В черновом автографе: 18 лет

<sup>50\*</sup> В черновом автографе далее зачеркнуто: Я даже рада вашим удачным набегам на графа Проппера, на «Биржевку» и на иных пошлых и пока слабейших... рыцарей<sup>35</sup>

что в девчонке этой все-таки не было ничего от литературных дам, типа Саломеи<sup>36</sup>, и, возможно, не было еще и любовника.

И так как Александр Иванович был действительно разбойник выдающийся и с размахом, то он и решил по особому великодушию больших дорог отпустить маленького путешественника, не тронув его грошней и даже наградив за отсутствие мелкого страха и за колючки, храбро выставленные навстречу сильнейшему кулаку.

Так были заключены между «Рудиным» и контрагентством необычайно выгодные условия, удивившие многих опытных дельцов и основанные на честном слове нововременского агента. Часто потом в тяжелые часы Ариадне вспоминалось его серое, худое лицо, чисто выбритое по-английски, припухлые, усталые веки и рыжие глаза. Для нее это страшное лицо было лицом надежды.

Вся московская поездка заключилась незначащим, но странным происшествием. В восемь часов вечера должен был уйти петербургский поезд, а уже в пять Ариадна бросила в холодный, пустой камин хвостик и косточки последней группы, купленной у той приносящей счастье бабы: «Все удалось!»— И глядя в тусклое, потное окно, выходившее во двор, на совершенно немые столы, стулья и диваны случайной комнаты, она уже не знала, что делать со своей радостью, и чем больше думала, тем меньше могла понять весь фантастический ход этого дня. Так человек, с шампанским хмелем в голове пробежав по канату, с ужасом потом вспоминает каждый свой крылатый и беспамятный шаг.

И наконец, томимая запоздальным головокружением и чувством победы, решила пойти бродить на час или полтора.

Все фонари горят, все стекла домов выше второго этажа синеют в зимних сумерках, все деревья в инее, все колокола качают воздух в сквозной вечерней колыбели. Черный человечек, которому двадцать лет, у которого нет еще любовника и которого сегодня не раздавил желтый американский сапог с такой толстой, такой уверенной подопойкой, бежит вверх по Тверской, любит зиму и Москву и не замечает, как его самого постепенно превращает в свет и сумерки, в звон и мельканье<sup>51\*</sup>. С каждой голубой, алмазной, брызжащей искрой, которую трамвай высекает из темной проволоки, уходит в млечный путь искусственного городского неба кусок сознания и воли.

Наконец, потерявшая себя в великой толпе Ариадна оказалась выброшенной на темную отмель Страстной площади, где в тихом шопоте переговаривающихся проституток, в молчаливой веренице извозчиков, дремлющих на морозе рядом с лошадьми в огромных, фантастических, заиндевелых пононах, разбивается в тихий шелест и пену прибой бульваров и Тверской.

Едва сознавая, зачем и куда она идет, улыбаясь белым звездам какой-то вывески, подопла к «Аполло»<sup>37</sup>, когда человек очень счастлив и совсем один, ему безразлично, в какое бы устье ни власть перекипающим потоком своей радости. «Аполло» наполнял ночь тягучей, громкой музыкой. Она вырывалась наружу через дверь, отворяемую посетителями, и эта же дверь, захлопываясь, прищемляла ее посередине. Точно весь «Аполло» кричал, и ему по-минутно то зажимали, то освобождали визгливый рот. Под томное танго, прерываемое острыми криками духовых инструментов, в зале двигалась густая толпа. Папиросный чад и смех, который она издавала, был дешевле, острее и возбужденнее всякого другого. Это — привкус предместий, запах потных тел через пурпур и духи, это — веселье с оттенком злостного напряжения, флирт около погрома.

Ариадну несли за собой все кругом, все скорее подростки, женщины, солдаты, облака дыма, зеркала, затылки в пурпуре и прыщах; стаканы, цветы и желтые, сожженные щипцами завитушки, мелькающие за стойкой. Все это ходило каруселью, и во главе выступала перекошенная Злоба с лицом, закрытым тенью, и телодвижениями вожделеющей обезьяны. Когда в насту-

<sup>51\*</sup> Далее зачеркнуто: всемогущая улица

лившей темноте замелькала белая пленка кинематографа, Ариадна широко и радостно вздохнула: точно ее корабль вышел в море и где-то сзади потухли последние огни. А музыка все играла в темноте, громкая, бессмысленно-радостная и бархатная. Упиваясь зрелищем какой-то великолепно нелепой сцены, свежестью и брызгами океана, состоящего из ложного света и ложной тени, запертая рядами этой толпы, каждый член которой желал, корчился от внутреннего жара и на изорванных жалких парусах своего воображения куда-то стремился, куда-то уходил от грязи, духоты и нищенства, Ариадна забыла себя, свой дом и восьмичасовой поезд. Все было в ней: и глубочайшая темнота этой залы, и грузный балкон, нависший над креслами косым, безобразным и величественным углом, и лживые, голые украшения стен, и живые глыбы всех тел, прижатых в темноте друг к другу, и, наконец, напряженный, магический, безмерно чужой всему человеческому и телесному, голубой столб света, наискось прорезающий невыносимые сумерки испарений. Столб небесного огня, яркий, прямой и холодный, как зимняя луна. Никогда еще Ариадна так не чувствовала всей темноты и сияния, спрятанного в ее крови. Они вдруг оба проснулись: и тень, оглушительно сильная, живая, пахнущая, и свет, без смысла, но и без оскудения, без трепета и без конца. У людей, живущих чисто интеллектуальными интересами, немое пробуждение духа заменяет собой животную весну. Как гроза без грома и освежающих дождей, оно проносится над темными полями души, рушит и живит, но только отвлеченные понятия, только идеи, живущие и воюющие в своем безвоздушном, в своем несуществующем и все же божественно реальном небе.

Ариадна сидела на своем месте совсем разбитая, слабая и потерянная. Было ей точно в детстве, в церкви, когда вдруг среди дыма и мерцаний однажды, всегда страшным толчком открываются золотые ворота, из-за них является будущее в бесконечном отдалении и глухая дорога, на минуту озаренная экстатическими, отвесными лучами. По счастливой случайности сосед в это время пошевелился и слегка задел ее локтем. Сразу проснувшись, она услышала за тягучим плеском музыки трезвое и робкое тиканье своих часов. Было 20 минут 8-го: значит, ей понадобилось полтора часа на то, чтобы стать из девочки женщиной, далеко уйти от своего вчера, чуть не забыть сегодня, едва не погрузиться в крутящуюся воронку совершенно новой и неизвестно куда текущей жизни.

&lt;2&gt;

Утром, в день приезда Ариадны, когда ее ждали с вокзала, в прихожей резко задребезжал звонок. Тэки залаял и запищал радостно, Михаил Николаевич отложил газету и пошел открывать. За дверью показался худощавый человек в очень бедном пальто и сапогах, со спортивной кепкой и большими портфелем.

- Здравствуйте.
- Здравствуйте.
- Здесь редакция журнала «Рудин»?
- Здесь. Зайдите, пожалуйста.

Молодой человек медленно стянул узкие рукава *(пальто)*<sup>52\*</sup> со своих замерзлых рук, снял с шеи нечистый шарф, под которым был воротничок мятой, тоже несвежей рубашки, и вошел в профессорский кабинет.

Здесь его поразило тепло и огромный письменный стол, покрытый зелено-бархатной скатертью. От одежды посетителя, как только она отогрелась, стал исходить запах студенческих комнат на Васильевском острове, которые все выходят окнами во двор, все имеют на подоконнике том уголовного права, керосинку и кусок малороссийского сала, присланного родителями к Рождеству.

- Так значит, вы и есть?..

<sup>52\*</sup> Пропущенное в машинописи слово восстанавливается по черновому автографу.

— Я редактор политического отдела.

Правда, Михаил Николаевич мог бы прибавить, что, кроме этого высокого звания, он носит еще несколько псевдонимов, олицетворяет собою отделы научный, сатирический, финансово-счетный, а также и хронику, но удержался и сделал значительное лицо<sup>38</sup>.

— Моя фамилия Топиков. Я ученик Академии, то есть Академии художеств. Занимаюсь по батальному классу<sup>39</sup>.

Художник поднял на профессора прелестные голубые глаза.

— У этого старого идиота Самокиша<sup>40</sup>. Вы извините (он покраснел, как очень молодая девушка) за такое выражение. Мы рисуем оружие, солдат, недавно — осла с туркой и бабу, что торгует морожеными яблоками у ворот, — в виде маркитантки. И это из года в год одно и то же — ослы, кивера, барабаны, ну да вы сами понимаете, что за учение в Академии? Я там остаюсь пока что из-за стипендии и потом, — видели вы ее внутри, то есть самое здание? Нет? — Он опять покраснел. — Чудная, старинная постройка. Коридоры ветхие, потолки, как из ивовых прутьев, — мягкие, гнутые, пополам в тени и на свету. Повсюду дворики, лестницы, переулки; на коридор выходят профессорские квартиры — тихие, светлые, масляной краской и хорошим обедом от них пахнет. Настоящие профессорские квартиры, с плотно закрытой дверью и дощечкой на ней — лучше вашей.

Он оглядел полки книг, за которыми виднелась плешь стены, и с улыбкой опять показал свои наивные глаза.

Михаил Николаевич встал.

— Извините, я сейчас вернусь.

Он нашел Елизавету Алексеевну еще не одетой, в дешевой рубашке и безрукавке на бараньем меху. Она убирала постели. Видно было струю ледяного воздуха, который врывался в открытую форточку.

— Лиза, набрось что-нибудь и выйди. Там пришел художник, кажется, именно такой, как нам нужно. Выходи, милая, это ничего, он уже знает, что мы — нищие.

Он поцеловал жену в продолговатые, усталые веки, в сухие губы, злые и умные, и они попали в кабинет. Елизавета Алексеевна поправила у зеркала чепчик и про себя решила, что, очевидно, к ним со всех сторон должны<sup>53\*</sup> собираться чудаки и до сумасшествия милые уроды.

Топиков между тем успел развернуть и разложить на столе кипу рисунков. Михаил Николаевич взглянул, и сердце его упало. Он обернулся к маме, и ее лоб, желтоватый, собранный в тысячу недоброжелательных морщин, говорил то же самое: бездарно.

Форма, правда, была хороша в общепринятом смысле. На бумаге было очень верно нарисовано то, что обычно видит средний глаз, зоркий, здоровый, как у всех.

Михаил Николаевич грузно опустился в кресло, которое под ним скрипнуло, и боялся взглянуть в младенческое лицо гостя.

— А это что?

Елизавета Алексеевна вытащила один из массы набросков, и вокруг ее глаз забегали мудрые смеющиеся змейки.

— Это к Достоевскому. Я очень люблю рисовать на тему, на какие-нибудь слова, чтобы не выдумывать самому содержание.

То, что сделал Топиков к Великому инквизитору, было карикатурой на Христа. Он был изображен в кресле, лицом к допрашивавшему его старику, мягкий, добрый, страшно близорукий. Словом, заранее побежденный идеалист, готовый стать мучеником во второй раз и позволяющий себя распять посреди верующих, ожидавших его тысячи лет. Христос, который никогда не победит во плоти, никогда не даст волю земному гневу, но, растоптанный здесь сапогом латника, переносит свою пассивную, отрицательную, бесплот-

<sup>53\*</sup> В черновом автографе далее: тянуться голодные и до сумасшествия талантливые люди

ную победу туда, где раб с ошейником, сжимающим ему горло, в час своего восстания прочтет: «Если тебя ударят в правую, подставь левую щеку».

Злость рисунка выражалась еще тем, что лицу Христа было придано чисто русское выражение, не хватало только очков на носу, мягкой адвокатской бородки, словом, гуманности и кокарды, знакомых и по Чехову, и по Салтыкову, и по Герцену. Инквизитор сидел перед ним, сделанный в стремительных, точных темных черточках, которые падали собранным, уверенным ливнем. Лоб и глаза в тени, на виду оставлены были только мужественные губы ростовщика или императора. Топиков оживленно светил своими безмятежными глазами. Старики стояли молча, как бы впивая маленькими глотками знатоков крепкий яд его рисунка.

— Это нам и нужно для «Рудина». Но скажите, как вы сюда попали с вашей дьявольской мазней, якобы вычитанной у бедного Достоевского?

Художник достал из кармана бумажку, на которой было написано: «Требуется талантливый сатирик, вполне равнодушный к гонорару. Обратиться: Большая Зеленина, 26/б, кв. 42 — редакция журнала «Рудин».

— Это было вывешено в столовой. Профессора читали с неудовольствием — велели снять. Я взял вывеску в карман — и пришел.

— А нет ли у вас еще рисунков вроде этого — карикатур?

Оказалось, что есть. Он их достал с неловкой миной, как пустяки, шалость. Это были изображения профессоров, нескольких известных художников, исполненные все с той же академической точностью, с подавляющим реализмом и такой чудовищной злостью, которая отнимала у опрятных деталей всю их шаблонность. Вывернутые наизнанку, они выступали преднамеренными, издевательски аккуратными. Единственное, в чем можно было упрекнуть Топикова, это в сравнительной бедности идей <sup>54\*</sup>.

Но, во всяком случае, перед Михаилом Николаевичем и Елизаветой Алексеевной был сатирик редкой величины, художник божьей милостью, с лицом и губами розового херувима, с глазами предательской ясности <sup>55\*</sup>, с инстинктивным отвращением к академии, к догме, к изданиям с хорошей оплатой, к богатству и линиям вообще, академическим и общественным. Жил он в Галерной гавани, был беден, как бывают бедны только художники, и жениат в двадцатых годах. Они спали на одной постели, дружно голодали и никогда ни о чем не разговаривали.

— Да, но мы ничего не можем платить нашим сотрудникам — они все работают бесплатно.

— Что же делать? — Он согласился на эти условия, опустил глаза, потемнел. Елизавета Алексеевна узнала это выражение надежды, разлетевшееся на злые, колючие щеки. Так иной поздней осенью убирает голые деревья крепкой, холодной, почти каменной белизной. Они стоят неподвижно, едва чернея стволами, блестя смертельным убранством, чистым, как самое страдание.

Топиков с любопытством:

— Скажите, зачем вы сделали такой важный стол? Он к вам обоим не подходит — такой чваный монумент. Зеленый глупый стол, нет? Вы не находите?

Но ведь он не мог знать их хитрости, мудрой выдумки обнищалых пенатов, которые так непринужденно прятали свое убожество. Мама заволновалась.

— Что вы, Топиков! Он деревянный, некрашеный, с сухими скрипучими ногами. Мой бедный, важный стол.

<sup>54\*</sup> В черновом автографе далее: Он не шел дальше мольеровских, общечеловеческих характеристик

<sup>55\*</sup> В черновом автографе далее: Был он беден, как бывают бедны только художники, жениат на мещаночке с узлом волос и изогнутой шеей, какие любили в 20-х годах, жил на 12 линии, ходил в отрепье и не хотел работать для Сытина, для «Нивы» и для уличных изданий. Сам он не имел определенных политических взглядов, кроме ненависти к богатым, к «линиям» вообще, академическим и общественным, но карандаш его был уже зрелым, бесстрашным анархистом

[6]

**«Краса».**

Какъ намъ сообщаютъ изъ особо компетентныхъ источниковъ, именно въ ноябрѣ сего года, но никакъ не раньше, русское общественное мнѣніе послѣ упорного сопротивленія отступало на заранѣe заготовленную позицію.

По словамъ очевидцевъ, великий отходъ совершился въ полномъ порядкѣ. Смололи рѣзьячастушки г. Соловьева, Леонида Андреевича, при громкихъ одобри-

Вотъ оно „просыпается, красовитое слово народное“. На зло „шептунамъ“ и „фыркателямъ“ приходитъ оно, чтобы занять подобающее мѣсто среди беспорядочно-бѣгущихъ толпъ.

Сюда, „наслѣдники Базиліи“, собирайтесь къ „думнымъ соснамъ“, подъ крыло „сиринъ-птицы“, къ „святойбѣговищемъ платать юродивыхъ угодниковъ“!

Напрасно „изгиляется Вильгельминце“, сидя за бураками“. Пришелъ часъ, прогнула „скуфья ступодовая“, блеснули „отмычки золотыя во персты сахаринные“, во весь ростъ поднялась Матушка-Россія.

Видно не даромъ добрый молодецъ, младъ-Есенинъ изъ Рязаніи потрхивалъ кудрями русыми, притисывая ножками рѣзными!

Не даромъ и Ремизовъ, „старецъ угремецъ“, скорѣ лѣтъ на одиномъ мѣстѣ простоялъ, „камень не камень, твердый, какъ камень“.

А „кружевница трущобная“, кроткий отрокъ Го-

**«КРАСА»**

Памфлет и карикатура на участников общества крестьянских поэтов «Красаса»

Слева направо: С. М. Городецкий, Н. А. Клюев, А. М. Ремизов, С. А. Есенин

Автор памфлета — Л. М. Рейннер, автор карикатуры — Е. И. Праведников

«Рудин», 1915, № 1

Она подняла край бархатной скатерти, спускавшейся до самого пола самоуверенными складками, и стали видны козлиные, белые, скрещенные ноги великана, между которыми жались кипы старых книг, детские игрушки и елочные украшения. В своей первобытной наготе эти сосновые перекладины казались скрытного, нездоро-белого цвета, как некрасивые ноги царицы Савской, разоблаченной Соломоном, чуждым истинной романтики, несмотря на свои песнопения<sup>41</sup>.

Топиков все это высказал неторопливым, мягким голосом и закончил:

— Все-таки царь был еврей. Ему непременно надо было убедиться, осмотреть и измерить недостаток своей возлюбленной.

— Раз вы теперь знаете секрет ученого стола, давайте я вам расскажу историю зеленої бархатной скатерти<sup>42</sup>.

Все лицо Елизаветы Алексеевны смеялось, отчего исчезли страшные следы кухни, прачечной лоханки и черной лестницы с котами, нанесенные на ее тонкую и сухую кожу, точно графитом на благородный пергамент.

— Этот наглый зеленый бархат я купила за границей, когда Мише вдруг стали платить настоящими деньгами за его сумасшедшие писания и речи: у человечества иногда бывают свои странности. Так вот: чувствуя в кармане свои гроши и в душе нечто от прародительницы обезьяны, я носилась по огромному магазину, подыскивая для кабинета нечто могущее внушитьуважение репортерам, приходившим в большом числе. Эти лихоманцы любят для своего вранья обстановку декоративную и устойчивую. Скатерть и сделалась взяткой их размашистому вкусу. Потом... потом газетчики перестали ходить на нашу Фазанен-штрассе, швейцар получил от специального бюро полицей-

президиума подробные инструкции относительно наблюдения, мы втайне заложили ложки, а Михаил Николаевич сел писать новую<sup>56\*</sup> книгу, которая, увы, и поныне не закончена. После амнистии Пятого года он уехал в Россию ловить за хвост новые законности и прилепиться к университету. Хотелось домой, учить детей дышать своим воздухом. Мы до того дошли, что ходили по вечерам на вокзал смотреть поезда, отходящие в Россию. Кондуктора кричали нагло, по огромным колесам стекало масло, пар взлетал горячим облачком и уходил под сумрачное черное стекло крыши облаком какой-то идиотской надежды. Но это все вздор, к делу не относится. Да, о скатерти... Ради сорока марок взяли мы тогда жильца, богатого русского по имени Халфин. Был он вдовец и от всех крушений сохранил маленького годовалого ребенка — очень противного мальчика. Красного, толстого, с самодовольством и беззаботностью взрослого и очень богатого человека. Знаете, я не могла видеть, как он сосет грудь своей няньки. Схватит ее белыми крепкими лапками и сосет с жестокостью, ровно, не переводя духа, пока из искусанного соска не покажется кровь. Тогда пискнет как-то противно, отвалится, и на круглом лице гrimаса равнодушного пресыщения. Точно он ее взял, купил — черт знает, что это был за ребенок со старой-престарой душой. Отец его боготворил мрачно, фанатически. Если бы для младенца понадобилось перекусить горло мне и моим детям, он бы перекусил. Вообще шагал по человеческим головам, добывая своему Яше всякие швейцарские коляски, здоровейших кормилиц и прогрессивные методы воспитания.

Как только они влезли в нашу квартиру, как сейчас же ею и завладели. Выходило так, что и воздух, и солнечный свет, и лучшие вещи — все Яшино, все им куплено и ему одному нужно. Из России писем все не было, росли долги, а рядом, за стеной, день и ночь гремел победоносный ребенок — казалось, мы запутались в паутине, а Халфины — отец и сын — преспокойно высасывают всю мою маленькую семью.

Наконец, он потребовал у меня для сына знаменитую скатерть: на ней Яша мог спокойно играть и падать, не рискуя повредить свое рыжеватое и розово-белое тельце. За это попранье нашей фамилии я должна была получить двадцать лишних марок. В конце концов пришлось согласиться, скатерть была разостлана, и Яша пустился на ней отплясывать всю радость своей крохотной, раскормленной жизни. Ах, что он с ней сделал! Он ее запилял во многих местах, и на чопорной материи появились желтые разводы. Вся его игривость, ничем не стесненная, излилась причудливымиувечьями на несчастный символ семейного благополучия и славы. Глупо, правда, но мне казалось, что крепенький розовый зад Яши ерзает уже не по скатерти, а по всей нашей жизни. Бонна, к которой ребенок относился как к рабе, сидела рядом, не смея остановить его неистовство, и на ее честном плебейском носу, исцарапанном маленьким Халфином, аккуратными квадратиками был на克莱ен пластырь. Яша торжествовал, корни его юного существа крепко обхватили меня, няньку, весь мир и наполнялись новой жизнью и силой. И вдруг, вы понимаете, когда все уже затмилось и завяло в наших темных комнатах, пришли деньги и письмо из России. Мы были свободны, — она улыбнулась, — правда, ненадолго, и скатерть была освобождена. Ее вымыли, очистили от всех грехов плenения, она повисла на балконе, вшивая тысячу золотых, очищающих лучей. Эта зелень помолодела, как бы примирилась с жизнью. Лэпп, сам Лэпп, студент политехникума, ныне знаменитый математик, а тогда голодный русский студент, вытряхивал и чистил ее щеткой. Все это делалось явно, с широкой гласностью, на виду у Яши, который ревел, как зарезанный, и его отца, торговавшего у господа бога весну и небо для своего потомка.

— Вот видите, какая длинная история у скатерти. Кроме того, страдание и благородная бедность смягчили ее природный бесстыдный цвет и светлые пятна. Она стала мудрой, темной и великолепной!

<sup>56\*</sup> Далее зачеркнуто: гениальную

Топиков слушал, чертил, взглядывал на рассказчицу, и опять его худые пальцы колдовали над листом бумаги. Наконец он кончил — маленькие иллюстрации, неуклюжие гротески в стиле Гогарта<sup>43</sup>, где было изображено с язвительной добротой попрание и освобождение скатерти — этого знака независимости, учености и славы<sup>57\*</sup>.

Топиков ушел домой в пальто Михаила Николаевича, и метель, обнажавшая перед ним обледенелый тротуар, мчалась белая, радостная, как некая жестокая и неземная союзница.

〈3〉

— Что, что они вам сказали? — Ариадна сделала крутой поворот, от которого на льду осталась тонкая алмазная полоса, и ловко опустилась на скамейку рядом с Ursis'ом — так его звали за широкие плечи и варварский рост.

Шел легкий снежок, и мужики ряд за рядом разметали его своими длинными усатыми метлами. По середине катка со скрипом опустился висячий фонарь, и вскоре на голубом поле его лимонный свет смешался с едва приметным сиянием молодой луны, взошедшей на голубом, сумеречном небе, полном мороза и ясности. Фигуры катающихся вдруг сделались черными, быстрыми и маленькими. И только посередине, в кругу крепнувшего света, тень конькобежца в белой фуфайке летала, еще более легкая, как птица над замерзшим взморьем.

— Они сказали, что все плохо — плохо придумано и плохо сделано.

— Прочтите мне еще раз про университет.

И, не обращая внимания на гимназиста, сидевшего рядом с коньком в руке, он стал читать ровным, поющим тоном, смешным для посторонних. Его маленькие, широко развинутые монгольские глаза снова заметили ту благородную бледность, которая непроизвольно выступает на иных лицах от первого прикосновения поэзии и при звуке настоящего стиха. Своей рукой без перчатки он тронул ее мохнатую рукавицу, неприятную, мокрую от расставших снежинок.

— Подождите, Ursic, мне холодно. Я немножко пробегусь.

Она встала неловко и неуверенно, чуть оттолкнулась одной ногой, как это делают начинающие, — и вдруг раскрыла руки, нагнулась, и начался полет. Это — голландский шаг, широкий, царственный, опираясь на выгнутый нож, летит, как над зеркалами, сам себя поддерживая в чудном равновесии, в приливе и отливе равномерных взмахов. Это иллюзия, только одной точкой льда привязанная к земле, это пляшущая зима с румянцем на щеках, с прерывистым и чистым дыханием, с телом лебедя, с быстротой юноши.

На льду пересеклись две плавные орбиты, две непогрешимых тонких дуги. Ursic одной рукой обнял Ариадну, другой спокойно вытянул ее руку, и ни о чем не думая, не зная устали, они все танцевали, все плыли по воздуху, дыша и переводя дыхание одновременно.

Лед чуть скрежетал на плавных поворотах, сумерки все сгущались и лиловели, волосы играющих в эту чистую и молодую игру покрылись инеем. Поэт крепко держал и нес по воздуху тело молодого и бесплотного духа. Ему стало бесконечно легко, бесконечно радостно. Его стихи сразу проснулись и запели, как потревоженный улей, вынесенные на ледяной ветер, изме-

<sup>57\*</sup> В черновом автографе далее: Затем художника пригласили в столовую, и он погрузился в сгущенную атмосферу духовных запахов, которая всегда существует вокруг людей, живущих вне общества, и по которой они издали узнают друг друга. Начиная с девяти фарфоровых уродов на печке, упорно не приносивших дому ничего, кроме несчастия, и кончая ненавистью, с которой здесь говорили о войне, — все было Топикову — свое, любимое, наконец найденное. Ему представили Надю, эту странную прислугу с руками музыканти и плоским, некрасивым лицом. Она тоже была помечена печатью рудинского отщепенства, веры в слова и мысли, непонятные, но имевшие, по ее представлению, какое-то прямое и решающее отношение к ее безграмотной и исковерканной жизни. Выходило так: что если Рудины правы, эта их правота должна где-то и в чем-то победить и все изменится, начиная с ее жизни. Она же была ответственным редактором будущего журнала. С тех пор, как фамилия Надежда Лещенко<sup>44</sup> (фраза не закончена)

ренные голубыми дугами, вычерченными по льду, повторенные ритмичным танцем этой прекрасной девушки, похожей на отрока. Он почувствовал веру в себя, увидел, как хорошо все уже оконченное и как таинственно и неизбежно будущее. Стихи мерещились Ursic'у в падающих снежинках, из которых некоторые таяли на ресницах и волосах пляшущей музы. Их было много — вокруг фонарей они вились трепещущими роями, лежали у ног невозмутимым, легким покровом, спускались от звезд целой сетью, целым прозрачным омутом, полным движения.

Замороженные музыканты, с льдинками на усах, с багровыми лицами, завернутыми в мохнатые шарфы, расселись, наконец, по своим местам, расправив ноты, покрытые снегом. Мальчишки столпились у железной печки, поставленной посередине оркестра, затем медные трубы взвились кверху, и, подгоняемые бешеным и хриплым вальсом, все катающиеся ринулись по кругу. Ариадна досмерти любила скверную музыку, — шарманку, трубу полкового трубача, рояль за стеной, взятый напрокат и бренчавший по вечерам.

— Слышите, как время уходит? Вот всегда от этого качания в музыке, от этой дерзости, от того, что она в воздухе плывет и пляшет, мне страшно жаль уходящее время.

Трубачи подняли свои жерла еще выше, и музыка взбежала плавно и высоко и упала, сорвалась вниз, как цыганка, как бродячая звезда, со всеми своими нежными, вульгарными, уличными трелями.

— Видите, минута ушла и никогда не повторится. Я вечность себе представляю только через эту жалость о времени — иначе я о ней не умею думать. — И прибавила тихо: Я и о смерти никогда не думаю — не могу себе ее представить.

И усталые, как после счастливой снежной оргии, они пошли домой.

— Вот в пятом этаже зажглось чье-то окно, из трамвайного провода вылетела синяя бабочка, — слышите, ветер в проволоках — и шаги на улице, ближе, ближе — и прошли. Милый мой Ursic, это одна минута, — она подняла палец, посмотрела на него сбоку, — и минуты нет, никогда больше *та-ак* не будет.

— Люблю вашу Зеленину. — Ursic вдруг остановился. — Смотрите, какой чудный бык!

Это была вывеска мелочной лавки, писанная золотом и масляными красками, с тем своеобразным пониманием перспективы, которое есть только у художников раннего Возрождения и у старинных, подробных вывесок на Петербургской стороне. Бык стоял на зеленом утесе, сделанном как бы из бархата, и подымал в безоблачное небо свои золоченые рога. Ниже его — утка, повернув к Зелениной свой печальный круглый глаз, переплывала пенное фатальное озеро, на берегу которого ее ждали два толстых и грустных барабана, петух величиной с римский огурец и недальновидная, неестественно веселая курица. Все эти животные, несмотря на радужное свое перо и кудрявую шерсть, казались натянутыми, встревоженными, как бы нарочно не замечали нарисованного тут же краснощекого юношу с огромным ножом, очень похожего на мясника. Но звери были выше своей судьбы — они презирали Рок.

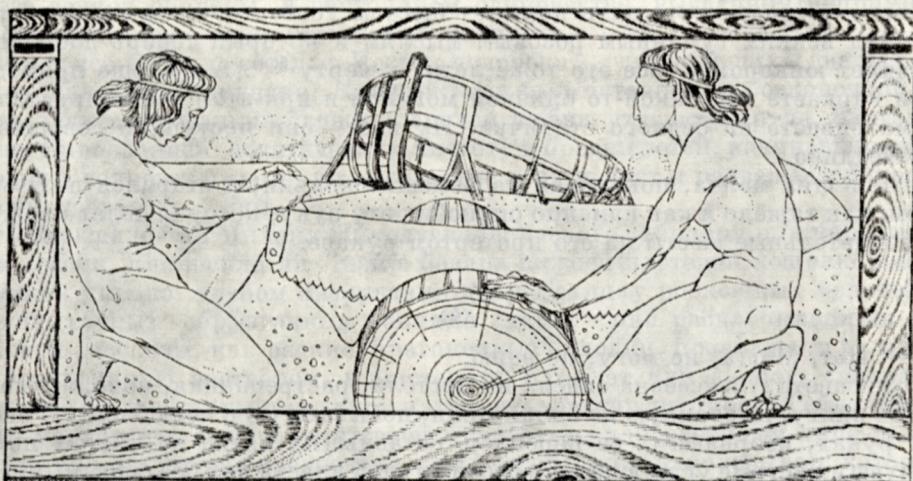
Молодые люди пошли дальше. Ариадна улыбнулась и толкнула соседа локтем.

— Ну, а теперь расскажите, как они вас там разделяли.

— Что тут рассказывать? Весь их толстый журнал собрался и задал мне головомойку. Начал старичок-критик, чуть ли не <sup>58\*</sup> самый почтенный человек в редакции.

— Знаете, нам в «Рудине» тоже надо будет завести такого — с баками, лично знавшего Ницше или хоть Толстого. Это страшно шикарно. Как в хороших домах: непременно у стола служит благообразный дедушка, седенький, чистенький — слуга, который выносил горшки еще за покойным папа-

<sup>58\*</sup> Далее зачеркнуто: шлиссельбуржец



О. МАНДЕЛЬШТАМЪ.

Уничтожает пламень  
Сухую жизнь мою—  
И нынѣ я не камень,  
А дерево пою.

Оно легко и грубо:  
Изъ одного куска  
И сердцевина дуба  
И весла рыбака.

Вбивайте крѣпче сваи,  
Стучите молотки  
О деревянномъ раѣ,  
Гдѣ вещи такъ легки!

## ЗАСТАВКА К СТИХОТВОРЕНИЮ О. Э. МАНДЕЛЬШТАМА

По рисунку Е. И. Праведникова  
«Рудин», 1916, № 7

шѣй и д. А он, между прочим, пьян вдребезги и нанят третьего дня. Ну, а дальше?

— Ах, разве все перескажешь! И какая тишина, и что за люди! Скажу вам вкратце: форма вычурна, нету искреннего чувства, нет музыки, нет яркости, нет таланта. Одно большущее «нет». Кого они только ни призывали на мою голову: синюю птицу, и греческий ритм, и Кантовы категории. Мне было очень больно. Они хорошо говорят и знают самые скрытые, чувствительные места. И не стихи ругают, а заберутся глубоко внутрь, туда, где эти стихи делаются, и поплюют учеными словами в самый источник. Нужно много времени, чтобы забыть эти слова, от которых делаются поэтические аборты.

Впереди, вдоль забора, была длинная замерзшая лужа, серебряная, раскатанная драными подошвами уличных спортсменов. Они немного разбежались, проехали по маленькому катку и пошли дальше так медленно и беззаботно, точно это было в субботу вечером, накануне воскресенья. Ursic не мог успокоиться:

— А ведь я знаю, откуда вся эта злость! Они чувствуют, что я враг, что в моих протертых карманах и в книгах, которые я люблю, есть ненависть к ним. По звону рифм можно догадаться, что я против войны, против газеты «Речь»<sup>45</sup>, против *«4 нрзб.»* против Семена Грузенberга, против Чайковского<sup>46</sup> и против Литературного общества! Понимаете, это где-то прорывается, где-то окрашивает мое небо и мои облака иначе, чем у них. Они мне говорят о пятистопном ямбе, о гармонии звука и цвета, о душе сонета. А я слышу другое: эти стихи пахнут бунтом, пятым этажом, анархическими бреднями некоего профессора с Большой Зелениной,— словом, пахнут неприятно и подлежат оплеванию.

— Urs, хуже всего то, что ваши стихи обязательны, они что-то меняют<sup>59\*</sup>. Не знаю, как вам это объяснить. Но есть поэзия, до и после которой ничто не меняется. И есть строчки, которые означают конец одного и начало другого. Старичок, который вас поперчил, очень близок к концу. Он умница и зна-

<sup>59\*</sup> Далее зачеркнуто: они обязывают

ет, что и журнал, и его пять комнат с бюстом Толстого, и его сын, которого он учил всяким гуманным розовым мыслям и который теперь доброволец и пахнет юнкером,— все это тоже летит к черту<sup>60\*</sup>. А тут еще приходите вы и каркаете над какой-то близкой могилой и при этом очень пристально посматриваете на бедного старичка. Ну вас,— они поступили совершенно справедливо.

Ursic шел молча, покачивая на ремешке коньки, и старался не думать о том, как тяжело и как каменно он любил эту руку, которая делала важные и назидательные жесты на его протертом рукаве.

«4»

— Нет, Миша, не могу, не верю.

Елизавета Алексеевна сидела на постели, растрепанная, похожая на дорогую книгу, вырванную из библиотеки, побывавшую в нелюбящих и нечистых руках, изорвавших ее переплет, оставивших пятна на чистых полях, загнувших острые углы в память своей глупой власти над беззащитными, над лучшими страницами. На желтоватом лбу сбившиеся волосы, из воротника кожаной душегрейки выступает худая шея, серая, как пыль. И Михаил Николаевич с ужасом отмечает запах пота, грязного Трудового пота, смешанного с испарением овчины. Она в этом виде и безобразна и отчаянна.

— Наша с тобой жизнь окончена. Нас съели, Мишенька. И напрасно ты трепыхаешься. Ты раздавлен, ничего путного не написал за столько лет. Всё гениальные идеи... и ни одного томика, чтобы хоть под голову положить.

Мама заплакала. Слезы ее жили под темными продолговатыми веками, как прозрачные духи в прохладных пещерах.

— И ненавижу твой немецкий идеализм<sup>61\*</sup>. Эти подлые, лживые надежды. Ты толст, вот откуда твоя вера. Уйди, оставь меня в покое.

Все вещи в комнате были некрасивые, купленные в рассрочку. Муки вечных долгов давно уничтожили тепло и удовольствие, которое они могли доставить. Раньше всех сдался комод, огромный, подавленный, квадратный, полный дырявых носков и заплатанного белья. Но все домашние заботы, все эти латки, поставленные с искусством и вдохновением, все прорехи, зачиненные бесконечной любовью, не смогли заполнить его огромных недр. Комод слушал, как падали мамины слезы, и наслаждался всеми рассохшимися ящиками. Зеркало оставалось туманным, оно молча отметило лишний день нищеты, эти седины, побивающие душу, как изморозь, рытвины возле рта, где живет усталость, и руки с искривленными пальцами и линию груди, расстегнутой, слабой. Зеркало глупо и неумолимо.

И не то, чтобы бедность вдруг сломила маму: нет, в течение двадцати пяти лет она одухотворяла все ее жестокие мелочи. Строила невозможные теории, высмеивала человечество с добродушием маленького Вольтера, рассказывала по вечерам, укладываясь в свою чистую и жесткую постель, такие сказки о любви, о борьбе за медный грош и о господе боге, что Олимп смеялся вместе с ней и дивился дивной живости ее духа. Каждый день другая, несмотря на свое бедное платье, не знавшее перемены, трагическая, как Рашель<sup>47</sup>, и изобретательная, как гризетка Латинского квартала, она заменила собой тысячи женщин, и Михаил Николаевич прошел за ней целую жизнь, наблюдая вечные творческие маски, завоевывая и теряя все новых любовниц, прятавшихся в изможденном и неисчерпаемом теле жены. Двое детей, рожденных с смертельной опасностью, были выкормлены легким и разрушительным гением анализа, царившего в семье. Они знали жизнь в десять лет, умели оценивать без ошибки все отчаянные схватки и наводнения, бросавшие их шаткое гнездо с места на место. Они привыкли видеть отца и мать

<sup>60\*</sup> Далее зачеркнуто: В ваших стихах это сказано громко — это их оскорбляет  
Они не хотят никаких *memento mori*

<sup>61\*</sup> В черновом автографе: оптимизм вместо идеализм

в позе вечной обороны, в постоянном одиночестве, вызванном непримиримостью критериев, приложенных к жизни.

И над всем царило веселье. Четыре человека — два больших и два маленьких — никогда не скучали. Каждый день был источником бесконечной радости, которая соединяла счастье зрелой любви, гордость труда, благословленного призванием, аскетическую чистоту и бредни детей, начинавших жить в полном солнечном свете, на высоте, где воздух чист и разрежен прикосновением творческих гроз.

Возвращался ли Михаил Николаевич с ученого собрания или парламентской сессии, приносила ли Лизи с базара в своей плетеной кошельке вместе с пучком укропа, хлебом и фруктами целую охапку роскошных мелочей — свежих, сочных, обрызганных каплями смеха, — они раскладывали за обедом свои рассказы, как редкие, драгоценные находки, превращали их в пьесу, разыгранную вчетвером, в мистерию, памфлет или диалог, смотря по тому, кто был действующим лицом в этот день: ректор ли старого Гейдельбергского университета, горбатый своей мудростью, или цветущая липа в саду библиотеки, пахнущая средневековьем и медом, или, наконец, вор, которого с бешеным азартом искал целый квартал и который спрятался здесь, за занавеской, и стоял совершенно белый, с этим великолепным светом на лице и глазах, который означает убийство без корысти.

И еще очень долго, целых десять лет продолжалось сопротивление Н-ов. Уходили годы, а пристальный и несчастливый свет, похожий на прожектор, продолжал обливать фигуру Михаила Николаевича все так же ярко. Мамин скепсис, которым она ограждалась от всеобщего непонимания, стал жестче, острее и постояннее. Иногда ей казалось, что вся жизнь ушла на борьбу с плеткой и каблуком нищеты, на облагораживание вещей, и все-таки напрасно.

Возбужденный ум Михаила Николаевича между тем достиг крепости и мощи, с перелома своих сорока лет он видел все тайны социального механизма и чувствовал в себе спокойную дерзость разрушителя, который, весь в белом, с глазами, освобожденными от всякой лжи, с невозмутимой кровью и блестящим, чистым скальпелем, стоит над своей эпохой и готовится к вскрытию и обозначению того, до чего не смеет коснуться ни один из современников.

Михаил Николаевич следил за иностранной печатью, с торжеством и ревностью замечая, как близко наука других стран подошла к разрешению загадок, которые для него уже были раскрыты и, как сияющий Млечный путь, пересекали черноту нищеты и вынужденного бездействия.

Он испытал тайное соперничество умов в различных углах мира, работающих над сродными задачами, эту атмосферу напряжения и догадок, которая соединяет электрическими нитями мозг людей, опередивших свое время.

Михаил Николаевич испытывал минуты ослепительного счастья. Ночью он будил жену и, чувствуя, как медленно холдеет его лоб, как сердце отбивает пурпурный тakt победы, говорил ей о новом, только что блеснувшем открытии, о невидимых орбитах, по которым с непогрешимой точностью движутся, погибают и снова рождаются культуры и миры.

Елизавета Алексеевна много не понимала, но у нее был гениальный инстинкт, и то, что муж приносил из лаборатории точного знания, она проверяла искусством, страданием и кислотой неумолимой этики. И видела, что мысли хороши и весят тяжело, как камень и золото.

Но утром Михаил Николаевич, еще горячий от творческой ночи, бежал в университет, потом на всякие курсы и техники, ехал на бесчисленных трамваях, шел много, много кварталов пешком и к вечеру возвращался домой разбитый, с неудовлетворенным мозгом, который требовал немедленного освобождения от груза созревших идей, и с глазами, которые смыкались от усталости.

Днишли за днями, жажда, тянувшая его к письменному столу, постепенно притуплялась и, наконец, исчезала совсем. Видения бледнели, догадки

отступали на задний план, пока где-нибудь перед случайной аудиторией, перед школьниками, они не прорывались наружу в последний раз блестящей, неудержимой и шалой волной вдохновения.

Профессор приходил домой взъяренный.

— Милая, какую лекцию я им прочел!

Она подымала на него глаза, полные горечи:

— Ах, опять выболтался, а когда же книга?

А книги не было и не могло быть. Человек, имевший 27 лекций в неделю, не мог ничего написать. И так из года в год, с неумолимой правильностью.

И вот теперь Михаил Николаевич смотрел и не мог узнатъ жену с ее злым и враждебным лицом. Из своей трясины она, наполовину в нее втянутая, с ненавистью встречала каждый луч, прорывавшийся через вечную мглу заднего двора и рисовавший на поверхности спокойного болота свои лживые, веселые пятна.

— Лизи, надо жить, а ты умираешь.

Да, но ее это не удручало. Чем скорее конец, тем лучше, лишь бы не платить за каждую попытку выкарабкаться новыми векселями, новым горем — оно и больнее и жесточе старого.

Михаил Николаевич сел против жены, взял ее руку, нагнул голову — и так они пробыли очень долго, пока комната не наполнилась сумерками; на потолке отразился свет первых фонарей и напротив — над черной, гробовой крышкой дома показалась и потекла зеленоватая, дрожащая звезда.

Мама все не шевелилась, глядя на эту голову в мягких, редких, седых волосах, на шею, еще такую сильную, в морщинах, как в обветренной коре, на весь затылок, который дети за какую-то бедную «вымершую» и благородную черту называли «как у мамонта».

Никогда нельзя точно сказать, где начинаются эти тихие, неповторимые разговоры; когда и как, движимые любовью или жалостью, в сумерки, в холодное время, предназначеннное сну и умиранию, расправляются и немноги, чуть-чуть, начинают шевелиться онемевшие, изорванные крылья разбившихся птиц, выброшенных на свалку людей. Такие минуты более беззащитны и пугливы, чем все другие, предназначенные цветенью человеческой души. Эти легко обрываются, как осенние, седые нити, которые случайно намотало на голую ветвь и полощет, и напрягает, и укачивает солнечным холодным ветром <sup>62\*</sup>.

Она спросила о самом тяжелом и *⟨постоянном⟩* <sup>63\*</sup> во всей их жизни:

— Почему ты один? Почему нет ученика, хоть одного, но настоящего, который бы тебе верил? Ну, сверху гонят и гнут, но почему же слева над тобой так же смеются, как и справа?

Но слева не могли не смеяться. В юности Михаил Николаевич мечтал о

<sup>62\*</sup> В черновом автографе далее зачеркнуто: И только если люди совершенно согласны и правдивы, как боги, в самом главном, в музыкальном ключе своих отношений и своей веры друг в друга, только тогда возможны эти чудеса жизни. Они вспомнили одно счастливое лето, проведенное на юге, в глухих, единственных, во время которого не надо было искать денег. Михаил Андреевич ходил босиком, в белой рубашке и простыне, пугая ленивых хохлов своей греческой тогой. Дети, голые и загорелые, неистовствовали в саду, зеленом, праздном и запущенном. Под яблонью, в ее столетней тени, сидела мама за маленьким столиком, перед ней белые, свежие листы бумаги и пачка карандашей, тонко очищенных.

— Ты была тогда моложе, Кити, и от листвы, которая без ветра все-таки шевелилась, смотрела зелеными, подвижными глазами. И сердилась, если я долго не диктовал.

— А наша птица? Она падала на тебя прямо из середины неба, из огня, из солнца. С криком, раскинув крылья, шурша воздухом — как дух святой. Но ведь и тогда ты не окончила свое «Государство»?

Никто его не понимает!

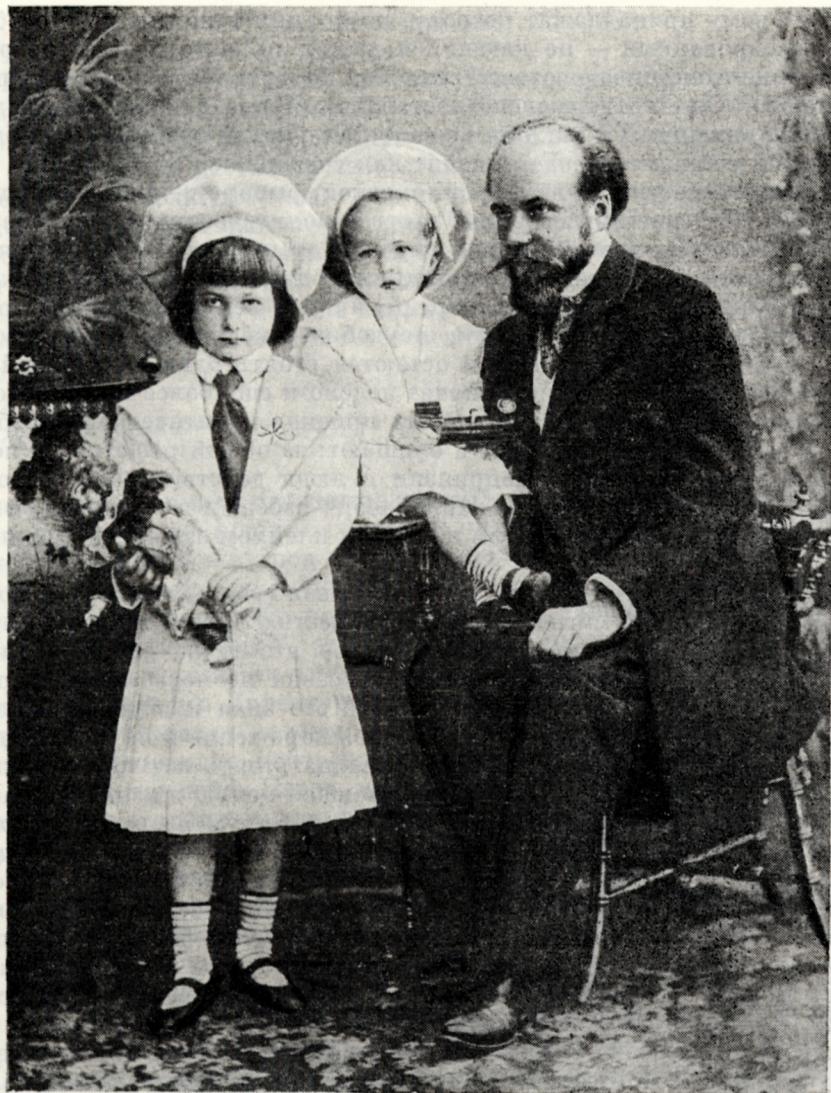
— Я не успел обвеситься цитатами, а без занавесок наши идиоты науки не признают,

— Скомкал ты все — ни одну мысль не довел до конца.

— Кити!

Она хорошо помнила отчаяние, с которым они покинули деревню в середине августа, в разгар тепла и творчества, гонимые все теми же бичами. А дальше?

<sup>63\*</sup> В машинописи описка: непостоянно; исправляется по черновому автографу.



М. А. РЕЙСНЕР С ДОЧЕРЬЮ ЛАРИСОЙ И СЫНОМ ИГОРЕМ

Фотография Т. Диппенбах. Берлин, 1903—1904

Литературный музей, Москва

спасении человечества при помощи монастыря и веры, потом — мудрого и возвышенного самодержавия и ложно-народнической утопии славянофилов.

Рос он сам по себе из густой, мирной и сентиментальной почвы русского мелкого дворянства — и, все более вытягиваясь кверху, одну за другой пробивал своим хорошим лбом колпаки идеологии, пока не посыпались осколки от последней, самой верхней, и он не вдохнул чистого, разреженного воздуха марксизма, но это уже на мостовой заграничного университетского городка, куда бывший профессор вылетел <sup>64\*</sup> нищим и, как он скоро убедился, нежестокий учеником, которому предстояло учиться заново. И он перечислился.

Но в жизни людей, перешедших с правого берега не левый, есть скрытая трагическая черта, особенно если они покидают прежний лагерь без покаяния и пришибленного стыда за свое рождение, за жестокое превосходство

<sup>64\*</sup> В черновом автографе: вылетел по третьему пункту

класса, которому принадлежат по роду, по корням и по имени, и особенно, если деклассированный — не кающийся дворянин, а гордый герценовский *refugié*<sup>48</sup> — не хочет нести ответственности за грехи предков, ему приходится тяжело. Он — отверженец, поставленный вне закона, ненавидимый «своими» как изменник, и никогда не сольется с новой средой — как бы верно ни служил ее знаменам. Его оценят как союзника, как бойца, но руку, которую он протянет в порыве старой, барской, рыцарственной романтики, — ее не примут. Тут нет ничьей вины: в среде политических бойцов, которых знание Маккиавелевых истин давно отучило от культа порывов, прямолинейная честность и окостенелая принципиальность, которая не может согнуться ни для гибкого строения партий, ни для фехтовальной быстроты и изменчивости парламента и печати, неудобна, смешна и обременительна. Поэтому деклассированные так и остаются стоять одни в неловкой позе, с бескорыстным пафосом, который звучит нелепо и еще более нелепо отскакивает от холодной тактики, от спокойных приемов политической борьбы<sup>65\*</sup>. Каторга и война одни уравнивают и очищают: за общей решеткой и под пулями забываются все, тайные неприязни и люди действительно становятся братьями. К сожалению, Михаил Николаевич избежал и баррикад, и тюрьмы и на всю жизнь остался с своим почетным клеймом отщепенца, одиночки, чужака.

В этот вечер оба, муж и жена, пересматривая свою жизнь с большой, холодной высоты, поняли смысл своего одиночества, имели мужество его оправдать и принять как нечто тяжелое и гордое, что нужно донести до конца.

Ни прежде, ни сейчас Елизавета Алексеевна не переставала верить в странную науку Михаила Николаевича. Он это знал и, благодарно пожав ее руку, признал свою слабость, свое полное поражение и на этом поприще. Нет, он не докончит книги, задуманной двадцать пять лет тому назад, обещанной в первую ночь их любви и созревавшей целую жизнь. Не напишет из-за денег, из-за усталости, из-за того сероватого тумана, который уже начал застилать далекие очертания зачарованного, недостижимого града, который напрасно ждал своего избавителя. Его узорчатые башни, его прозрачные зубцы медленно погрузились на дно прохладного озера, звеня всеми колоколами своих печальных, не разочарованных высот. Михаил Николаевич часто днем, среди занятий, и в часы бессонницы слышал это прощальное пение своей мечты, эти погребальные карильоны<sup>49</sup>, эти безнадежные псалмы, звенящие серебром, инеем, белизной старости.

Елизавета Алексеевна сквозь веки, опущенные, тяжелые от слез, видела так же ясно, как и ее муж, последний блеск алмазных очертаний, облитых заревом какого-то великолепного заката. Рассеялась ее надежда — самая бескорыстная и жгучая, надежда славы и признания, хотя бы через много лет. Им вдруг почудилось обоим море, над которым только что зашло солнце: его безнадежный ровный шум.

— Это конец, Миша?

— Нет, Лись, нужно издавать «Рудина».

— Зачем?

— Я устал жить с завязанным ртом<sup>66\*</sup>. На прощание мы соберемся с си- лами и еще раз в жизни посмеемся как следует: разбойничьям, хорошим смехом.

— А потом?

— Не все ли равно?

И, взглянув вокруг:

<sup>65\*</sup> В черновом автографе далее зачеркнуто: И странно, но речи Дон-Кихотов, перебравшихся на «другой берег» во имя самых высоких и бескорыстных побуждений, вышедших на этот берег измученными, часто искалеченными, звучат непобедимой фальшью, звучат лживо

<sup>66\*</sup> В черновом автографе: — Затем, что нужна сейчас сатира. Она носится в воздухе, как запах гари. Затем, что я устал жить с завязанным ртом

— Это все рухнет, и <sup>67\*</sup> начнется другое.

— Ты опять на что-то надеешься?

— Ни на что я не надеюсь. Но мы будем первыми, которые нарушают ужасающую тишину. Давай, милая, скажем громко, отчетливо, весело, *«что мы против войны, против побед и против крови.»* <sup>68\*</sup> Я стар, ты тоже у меня устала — почему не доставить себе этой последней радости и не крикнуть королю, что он голый? Большего мне не надо <sup>69\*</sup>, но хочу услышать звон битых окон, испуганный визг и, — Лисси, это уж действительно надежда, но очень скромная, — может быть, за нашей спиной раздастся гул, движение, этот отравленный ненавистью крик, которого мы ждали так долго. Хочешь, рискнем, все равно жить дольше так, как мы жили, — невозможно.

В сумерках лицо Елизаветы Алексеевны побелело и стало ясно, как мраморное.

— А дети?

— Дети с нами <sup>70\*</sup>.

〈5〉

Квартира Владимира Владимировича <sup>50</sup> выходила окнами на Неву. Из отдаленного конца гостиной, с глубоких пуховых кресел, то сжимающих, то разнеженно раздувающих под шелковой кожей свою рыхлую плоть, всегда видны были сфинксы, сумрачные окна Академии и державные воды реки. Из всех зал, купивших себе право смотреть на дивные перспективы Петербурга левого берега Невы <sup>51</sup>, эта была лучше многих: у цельного оконного стекла поставлен литой, из темного металла Наполеон того времени, когда он только что сбросил Директорию, только что перешагнул двусмысленные границы Консульства и потому смотрел молодо, с тяжелой и задумчивой алчностью на Дворцовую набережную и тот счастливый по размерам и окружению квадрат, где скала Петра, желтые колонны Сената и неторопливо раскинутая на три стороны легкая громада Адмиралтейства. Наполеон этот думал только о себе, о странной некрасивости Жозефины <sup>52</sup>, ставшей стилем целой эпохи, о карете, в которой он ехал через горные перевалы Италии, о дерзости старых солдат, встретивших его насмешливо: они неприлично стучали варварскими шпорами и палашами у его порога, эти, черт бы их взял, Ожеро, Гоп <sup>53</sup>.

Тут были и другие Наполеоны; они наполняли всю комнату — и тот, с длинными, мягкими волосами, человечным лбом и занесенной шпагой, гений Аркольского моста, придуманный историей и смотревший в своем вечном ослеплении, с вечно повернутой назад головой, с кудрями, откинутыми ветром славы, на узкий Троицкий мост, который иногда закрывали от него железные выюги, — так же, как смотрел он на Аркольский <sup>54</sup>.

Несколько императоров жили рядом, не видя, не зная, не замечая друг друга.

Маленький и толстый, взбешенный до последней степени и царственный более, чем в день своего театрального коронования <sup>55</sup>, стоял спиной, не видел от злости ни барочных завитушек залы, ни паркета под топающими ногами, ни орлов и лилий над головой и, как сапожник, кричал на грациозного, старого, униженного папу.

Самодовольный и отяжелевший, в мантии и короне, и он же, ловкий, в темном мундире, с рукой, заложенной за общлаг сюртука, Наполеон всех сентimentальных награждений,очных караулов и солдат, производимых в фельдмаршалы.

<sup>67\*</sup> В черновом автографе далее: очень скоро начнется гроза

<sup>68\*</sup> После слова весело в машинописи пропуск; окончание фразы восстанавливается по черновому автографу.

<sup>69\*</sup> В черновом автографе: Ничего больше мне не надо, я хочу первым бросить камень в толстую, желтую рожу кого-то, кто сидит в Думе

<sup>70\*</sup> В черновом автографе далее: Наконец, начались самые реальные приготовления к тому, чтобы журнал действительно вышел. Михаил Андреевич при помощи сложных финансовых операций достал целую тысячу рублей. Его векселя (фраза не закончена)

Бонапарт, раненый при Риволи, с дивной ногой полубога, поставленной на барабан, с подзорной трубой у глаз, в то время, как друзья отирают его кровь, а биограф записывает сцену на листке записной книжки, обожженной порохом<sup>56</sup>. Решаются судьбы мира, лошади в исступе становятся на дыбы, и раненые, умирая, приветствуют императора. Это уже Цезарь, видимый сквозь дымку летучей пудры, сышавшейся на славных подмостках Comédie Française с вороных кудрей мадемуазель Марс, причесанной великим театральным парикмахером, показывавшей античную ногу на строгом диване Давида, при блеске свеч, при плеске партера<sup>57</sup>.

Были и другие — Наполеоны, принимавшие Фуше с миной недостойного страха<sup>58</sup>, и веселые отцы семейства в вышитом золотыми цветками жилете, белых шелковых чулках и туфлях с бантиками, ласкающие законное дитя императрицы под сенью Шенбруннских садов, при ласковом блеске австрийского солнца<sup>59</sup>.

Под стеклом виднелись ржавые шпаги маршалов и самого императора, сбереженные для потомства честолюбием любовниц, медали с латинскими изречениями и два — три покоробленных листа, повествующих о том, что великий пленник установил на о. *Эльбе*<sup>71\*</sup> версальский этикет, улучшил садоводство и земледелие, и армию, состоящую из трех десятков инвалидов, на свой счет одел в мундиры гвардии, с медвежьей шапкой, белыми рейтузами и такими же гамашами на пуговках, — время мемуаров, споров с самим собой из-за 93 года и рыбачьих лодок, привозивших с континента жгучие письма женщин, подготовлявших переворот, соблазны верности и надежды, божественное искушение «Ста дней».

На все это не смотрел самый большой *и* настоящий из всех Наполеонов<sup>72\*</sup>. Висел он в углу, в темной раме, не имея ничего общего с толпой своих молодых и старых, веселых и скучающих двойников, и на залу Владимира Владимировича, и на карикатуры 12-го года, где брань, обведенная чертой, приставлялась ко рту тонких казаков на тонких и тоже хищных лошадях<sup>60</sup>, и на глупое лицо жены он не взглянул ни разу из-за волос, беспорядочно упавших на глаза, из-за воротника теплой одежды. И только Петербургу, равному в вечности, и дворцу из темно-красного гранита, где когда-то жил и плакал от смятения<sup>73\*</sup> его случайный сентиментальный победитель, подарил он несколько взоров — рассеянных, с трудом вспоминающих прошлое.

Владимир Владимирович любил свою залу за ложь и правду, которая заключалась в бесчисленных Наполеонах, составлявших все-таки одного только великого человека. Его радовала терпимость, с которой они разделяли бессмертие, бесспорность каждой маски, которая была ничто без других и так полна собой, так самодовлеюща в кусочке истории, которым она жила и который олицетворяла.

Иногда *«Веселовскому»* казалось: статуи, гравюры, силуэты, набросанные при свече на полях походного дневника, могут на время ожить и, беседуя, придут и сядут в эти мягкие, зеленые кресла, вывезенные из Франции, принадлежавшие когда-то Полине Богарне<sup>61</sup>. Как встретился бы республиканский Бонапарт с супругом Луизы Австрийской, как бы пожал руку каторжника с Эльбы победитель 3-го и 5-го года?

Владимир Владимирович видел их перед собой, ненавидящих, непохожих друг на друга, но с одной и той же веной на надутом лбу, с той же рукой, белой и короткой, украшенной якобинским мечом или перстнем, благословенным в Ватикане, с тем же брюшком, спрятанным в горностай или затянутым в спартанский трехцветный шарф Республики.

<sup>71\*</sup> В черновом автографе описка, повторенная в машинописи: Мальте

<sup>72\*</sup> В черновом автографе далее зачеркнуто: отстрадавший заживо свою историю, захлебнувшись в горькой пене Северного моря, в праздности

<sup>73\*</sup> Далее зачеркнуто: и бессильной злобы



М. А. РЕЙСНЕРЬ.

*Куприянов.*

### Либкнехты.

Цѣлая династія Либкнехтовъ, идеалистовъ, безстрашныхъ борцовъ за гуманность и свободу.

Отецъ и сыны. Первый — строгій, сухощавый, похожій на пастора или профессора — это Вильгельмъ; его преемникъ — одинъ изъ многочисленныхъ сыновей — Карлъ, кудрявый, немножко курносый, брызжущій энергией, веселъ, здоровъ.

Карлъ похожъ на свою милую мать — вѣрную сподвижницу отца, вошедшую въ среду рабочихъ изъ семьи бывшаго вице-президента Рейхстага.

Когда началась война, и большинство нѣмецкаго пролетариата было вовлечено безъ малѣйшаго сопротивленія въ безумное предпріятіе германскаго юнкерства и капиталистовъ, авторъ этихъ строкъ стревоюго слѣдить за судбою Карла Либкнекта.

Имѣйтъ, или нѣтъ? Неужели и онъ, человѣкъ великой вѣры и рѣдкій другъ Россіи, который на знаменитомъ кенигсбергскомъ процессѣ такъ великолѣпно защищалъ русское освобожденіе отъ

Это было въ 1870 году, во время пресловутой франко-пруссской "обединительной" войны, когда дружными усилиями третьаго Наполеона и Бисмарка былъ вскрытъ нарывъ давно назрѣвавшей борьбы двухъ реакціонныхъ правительствъ и капиталистическихъ странъ.

Съ нѣмецкой стороны было превозглашено, что война ведется "не противъ французского народа", а только "противъ Бонапарта", что "война не преслѣдуєтъ никакихъ завоевательныхъ цѣлей", что "если бы мы были французами, то мы скоро сами покончили бы съ Людовикомъ-Наполеономъ" и т. д.

И значительная часть нѣмецкаго пролетариата, обединенная въ социалистическую партию такъ называемыхъ лассалеанцевъ, во главѣ со Швейцеромъ, была увлечена этими фальшивыми и лицемѣрными заявленіями.

А между тѣмъ уже 12 июля въ Ревельѣ было выпущено воззваніе къ рабочимъ всѣхъ странъ

### «ЛИБКНЕХТЫ»

Статья М. А. Рейснера и заставка Н. Н. Купреянова

«Рудинъ», 1916, № 7

Враги и антиподы, слитые въ одномъ лице, разделенные последовательнымъ временемъ, сменяющие другъ друга, какъ актеръ, какъ плохой актеръ, вечно тот же въ различныхъ роляхъ.

Владимиру Владимировичу легче становилось дышать среди несовместимыхъ образовъ, распространявшихъ въ этой невской гостиной духъ великоклѣпного компромисса, утонченного кровосмешения идей, мощь лжи, верящей въ себя, какъ въ бога.

Но если бы одна изъ теней, наскучив зеленою залой ампир, открыла дверь, ведущую налево, вся ее историческая двойственность потерялась бы въ томъ обширномъ и продуманномъ противоречии, которымъ украшались полки несчетныхъ книжныхъ шкафовъ. Эта библиотека собиралась годами и состояла изъ сочинений политическихъ и экономическихъ<sup>62</sup>. Въ первомъ ряду ценнаго книгохранилища блесталъ рядъ томовъ, изданныхъ на веленевой бумаге, съ за-

нахом свежей краски и ванили под гравированным переплетом; в них скопилось золото всего мира: юное золото Америки, окровавленное золото Перу, золото, распаленное африканским солнцем, золото, добытое из-под вечной снежной коры. Эти книги — оргия драгоценных металлов, восторженный крик открывателей, апофеоз безумных путешествий. Это лазурное море богатства, по которому на тяжелых парусных кораблях стремятся искатели приключений, убийцы, короли — все, для кого светило солнце счастья, кому из безбрежных далей кивали пальмовые вершины Океании, кого провожали по волнам резвые наяды, предсказания мудрых гороскопов и веские молитвы иезуитских настоятелей.

Рядом с этими книгами, где кровь и золото фонтанами брызгут на белых страницах истории, — старые английские законы о фальшивомонетчиках и алхимиках, статьи против магов, ученых и мошенников, против котов с таинственными снадобьями, против зелий, скрывающих философский камень, против бражников, бросающих на стол, залитый добрым старым вином, и меченные карты и слишком легкие фунты.

Дальше в этой симфонии золота можно было прочесть сказания о нечестных и скучных королях Франции, с замечательными иллюстрациями: вот портрет бережливого Людовика, с ножницами и лупой в руках, поверяющего вес золотых, у которых давно обрезан ободок — признак счастливого излишества.

Первые социалисты, мечтатели и разрушители, стояли в мундирах красного тисненого сафьяна. Поборники свободной торговли с великим Рикардо<sup>63</sup> образовали черную горсть в их стройной семье, насчитывая несколько ученических союзников на нижней полке, где XIX век был представлен цифрами, статистическими кривыми из уголовных преступников и незаконнорожденных детей, спиралями самоубийц, отчетами трестов и акционерных обществ, ученостью, блестящей юриспруденцией и историей кровавых забастовок, втиснутых в легковесные и пестрые гробики подпольной литературы.

Словом, все, что служило к изучению социальных отношений, все — от средневековой книжечки, излагавшей злые и похотливые свойства денег, эти брачные ночи червонцев, дающих нечестный приплод в подвале ростовщика, и до международных законов, отнимающих у Великого спекулянта кусочек его наживы в пользу государства и общества, — было тщательно собрано, занесено на крепкие картонные карточки, перенумеровано тройным ключом библиофила.

Где бы и в какую эпоху ни вспыхивало восстание и кем бы ни подавлялось, оно доставляло в теплый, удобный кабинет Владимира Владимировича список своих жертв, имена детей, истребленных голодом, и портреты победителей.

Периоды спокойного накопления, честно растущей наживы и десятилетия бурных кризисов, войн и революций Веселовский подобрал с особенной любовью. Рядом с заревами 93-го, 48-го и 5-го года установил тучные, однообразные скопища торговых отчетов, биржевых сделок и судоходных дневников; рядом с баррикадами навалил горы зерна и убоины, пирамиды хлопка и риса, которые где-то, на другом конце мира, подымались и падали в цене, исчезали с рынка или топили его неслыханным урожаем в то время, как Прудон грыз кончик своего пера или старинная колымага везла старосветского помещика к предводителю дворян, где после бала объявлялась монаршая воля о крепостных рабах.

А в особом шкафу, где на ореховой полке, как на паркете гостиной, энциклопедисты встречались с бунтарями нового времени, где Руссо ревновал славу Бакунина и Вольтер нашептывал Лассалю безбожные анекдоты, и молодые люди из Вены, очень живописные в своих полосатых пледах через плечо и очень жестоко расстрелянные, объясняли Гейне его романтические ошибки, среди брошюр и книг самых горючих, самых опасных и запрещенных занимала почетное место книга В. В. Веселовского, написанная в дни его революционного бонапартизма — «О праве стачек»<sup>64</sup>.

В окно библиотеки, выходившее на набережную как раз против этого шкафа, виден был городовой, который прохаживался на морозе, оправляя башлык, ударяя рукой об руку и оглядываясь во все стороны, чтобы обеспечь имущество, спокойствие и вдохновение банкира Веселовского.

В кабинете Владимира Владимировича стопы зажигательных прокламаций, служивших материалом для блестящих, обдуманных и резких лекций, придавлены были к месту кучей векселей, и на толстого Маркса, читанного много раз, открывавшегося при первом прикосновении на своих лучших местах, как Библия в часы раскаяния и грешного похмелья, не раз ставили свои легкие и оцененные ножки те женщины, которые в этот ученый кабинет приносили запах министерских сигар, политические сплетни и неоплаченные счета. Их привлекал <sup>74\*</sup> банкир-социалист, один из лучших собеседников Петербурга, урод, который с дамами этого рода обращался с великолепным цинизмом, который они благодарно помнили по первым годам любви, по рублям, засунутым за дешевый чулок, перевязанный тепсемкой ниже колена, по страстным побоям милого друга и его небрежной грации.

На утро смешанный запах оргии впитывался революционными томами, оседал на пьедесталах и рамках Наполеонов, Сен-Симона и Кабе. Подпев толстую голову, покрытую шапкой необычайно мягких пушечных волос, двумя сильными и короткими руками, Владимир Владимирович изучал подписи своих бесчисленных должников, писал стихи, выбирал из сухих экономических трактатов капельки горького знания. Или дверь с черного хода открывалась ежеминутно, и, стараясь не видеть горничной в белом хохолке, никелевого котла-жертвенника эпикурейской кухни и разложенных на доске голубей, завязанных крест накрест поверх белого, выпотрошеннего, набитого яблоками брюшка, приходили студенты, заиндевевые, с портфелями под мышкой.

Владимир Владимирович угощал их остатками давшнего ужина, ловил в воздухе рассеянные струйки памятных ароматов и учил своих учеников разрушению и справедливости так, что они его уроки помнили и в Сибири.

Последователей у него не было — все, принявшие из его неверных, неубежденных рук святые дары политической веры, уходили от него удовлетворенными, более опытными, но с неблагодарным и презрительным оттенком — как от проститутки. Веселовский мог дать очень много: неподкупный анализ, и огромную эрудицию, и подлинники с автографами величайших социалистов — все, кроме морального костяка, единства и веры.

Санкюлоты ходили, слушали и записывали, а придя домой, со сладострастием мечтали о том, как в первый день революции с четырех концов запалят нарядную пещеру мудреца.

Так он и жил — один.

Несмотря на брезгливое внимание аудиторий и ненависть коллег, большие деньги и большой талант, Веселовский не был счастлив. Он мог удержать в своих беспощадных кассах векселя мужей, жены которых так любили его вино и беседу. Он мог — и обобрал до нитки либерального князя, поместившего крупное наследство в банк профессора-социалиста; в дни беспорядков сказал громовую речь с дворцового балкона и немного спустя украсил камергерским ключом свой полный, безобразный, но высокорожденный зад. Словом, Владимир Владимирович мог многое, но не избежал разочарований при всем своем безверии, и любви не избежал, несмотря на душевную сътость и изощренность. Припадки отчаяния наступали неожиданно, с неудержимой силой. Все боги, которым он воздавал поровну с языческой терпимостью, вступали в спор, требуя своего, каждый становился единственным, владел всей истиной, и за спиной Абсолюта Веселовскому открывалась, точно

<sup>74\*</sup> В черновом автографе далее: ученый и банкир, будущий министр просвещения

в зеркалах, бесконечная перспектива тождеств, силлогизмов и отражений, сливающих друг в друге радужные края.

И что еще хуже, в теориях Владимира Владимировича оказалась пробита брешь, с каждым днем выраставшая: он не мог купить Елизавету Алексеевну. К своему величайшему удивлению, и даже страху, он действительно не мог этого сделать.

Нынче утром он ей позвонил по телефону, как всегда в свои критические, самоубийственные дни.

— Лиза, вы дома?

Она стояла с озабоченным лицом и сердито ему отвечала:

— Ну да, это я.

— Елизавета Алексеевна, голубушка, сегодня за моей душой придет черт с портфелем. Что ему ответить?

— Что он умница, но все-таки опоздал: надо было это сделать лет десять тому назад, пока вы не совсем оподдели. А что? Опять каешься, Володя? Ох, не люблю оттепели у грешников.

— Приезжайте ко мне, я такой бедный сегодня — очень хочу вас повидать.

— Не поеду.

— Ну тогда я сейчас повешусь на парадной люстре.

— Бешайтесь.

— А гусь с яблоками, для вас зажаренный?

— Попрощайте его вашему князю, пусть видит, какой вы благородный.

Забрали у него миллион, а гуся возвратили.

— Так в три часа?

— Ну, хорошо. Но смотрите, я ругаться буду.

Владимир Владимирович еще послушал тягучий далекий шум и решил, что нет чуда больше милого голоса, вызванного из пустоты, дошедшего к нему по холодным, гудящим над Невой проволокам. Потом не велел никого пускать, открыл все форточки, чтобы ни один коварный атом не дошел до нее, сам лег на диван, послал за цветами, опять лег и, наконец, ощутил сердцебиение.

Но так как у Натальи Павловны Ковалевской был свой ключ от входной двери, которым она пользовалась чаще всего по четвергам, то она и открыла двери столовой своей благородно искривленной, цепкой ручкой в то время, когда Владимир Владимирович переставлял бутылку кьянти, насвистывая при этом уличную песенку, ею нелюбимую. Стол был приготовлен не для нее, это Наталья Павловна поняла сразу, и еще хуже, Владимир Владимирович ее не узнал. Он долго смотрел на выпуклые, светлые глаза, на капли бриллиантов в ушах, им же подаренные, и не улыбался.

— Я вам помешала?

— Нет.

— Вы кого-нибудь ждете?

— Жду даму, которая не из министерских, не из чиновных, не из красивых и даже не из молодых.

— Мне можно остаться?

— Как хотите.

Наталья Павловна села на диванчик и приняла вид того великого безразличия, которое действительно питала к людям.

Владимир Владимирович смотрел в окно на трамваи. Они бежали издалека, очень быстро по Первой линии, мелькая живым, красным цветом по фасаду корпуса, выцветшего, как старинный мундир, покрытого инеем, как пурпур. На повороте, блеснув цветными глазами, становясь громче и шурша вдоль Академии, они подбегали к окну — № 3 и 1, и 2, и 14 из Галерной гавани, постылые, ненужные числа, целый фараон, целая колода битых карт. Наконец, особенно долго прячась за деревьями, не различимый из-за судорожной дрожи ресниц, назвал себя 12 №, приблизился, осторожно подождал, пока не спрыгнула на мерзлые камни Елизавета Алексеевна. Беседовский повернулся к двери.

— Изголодавшаяся нимфа. Да, конечно, нимфа, состарившаяся в нищете. Интересно, сколько ей лет? — Это подумала Ковалевская и стала внимательна, выпрямила сухие плечи. Так смотрит хорошая и нервная скаковая лошадка на единокровку, впряженную в извозчики дрожки и сохранившую под нелепым кнутом черты при рожденного благородства.

— Володя, — Елисавета Алексеевна поцеловала его в голову. — Поздравляю. Старый мошенник издох.

— Кто?

— Господи, кто? Таубе, барон <sup>65</sup>.

Все сели.

— Но как красиво он умер — великолепно! Учитесь, как с достоинством можно за собой захлопнуть крышку гроба.

Ковалевская подняла злые брови.

— И это после ссылки всех либеральных профессоров, после истории с забастовкой?

— После всего. Сперва он поил на свой счет весь университет, выписывал картинки из Парижа — вообще веселился. Вольно же было возлагать надежды на этакого шалуна. Он им показывал язык, дебоширил, на все разговоры, кроме неприличных, отмалчивался. Тем не менее академические дамы льнули, сделали ему реноме непонятой натуры, вся оппозиция ждала каких-то свершений от ученого богемьяна.

— Я сам с ним выпил не одну бутылку.

— Вот, а попавши в министры, не только ничего не преобразил, но всех своих доброжелателей разогнал и по голове постукал палкой.

— Черносотенец, с достоевщиной.

— Ну да, но слушайте дальше. Он был завсегдатай веселых домов, и не было человека добре в отношении проституток. Они его обожали. Говорят, гуляя вечером по Невскому с поднятым воротником, он совал золотые всем встречным девчонкам. Бескорыстно, слышите, Володя, даром давал — не то, что вы.

У Натальи Павловны защекотало в ушах от пары прелестных бриллиантов.

— За его гробом их шло несколько сот. Полиция ничего не могла сделать; прямо за придворными каретами двинулась целая армия камелей — со слезами, с настоящим горем, — многие были ему обязаны. А в больнице, где он умирал — распухший, воинчий, страшный! — за ним ходила сиделка, очень хорошая, резкая на язык баба. Так она не пустила к больному шефа жандармов и еще кого-то из великих. — «Коленька, — говорит, — там к тебе двое просятся. Пускать или нет?» — «А кто такие?» — «Не знаю, морды у них похабные, настоящие... (и дальше непечатно)». — «А ты как советуешь, принять или нет?» — «А на что они тебе, такие? Помрешь и без них — гони в шею, бога порадуй». — Таубе от смеха и боли едва не отправился на тот свет, и оба высокие гости спустились с лестницы ни с чем. Разве плохо?»

— А интересно, какого мерзавца на его место назначат?

Веселовский надеялся, что при помощи Натальи Павловны этим мерзведом будет именно он — дело было совсем налажено, ожидалось приглашение во дворец. *(Веселовскому)* надо было только еще немного больше нагнуть в грязь голову — Наталье Павловне покрепче поставить на нее свою злую легкую ножку, мужу ее получить некоторые гарантии.

— А уж не вы ли унаследуете портфель Таубе? У вас что-то глаза стали неопределенные.

— Почему бы и нет?

Наталье Павловне легче стало дышать.

— За последние годы вы стали такой нравственной воинчкой, что, пожалуй, и возможно. Но эстетика, Володя, Наполеоны, поза... Как быть с этим?

— Это вы, женщина — уголовное право, вы — золотая булла нравственности, хотите меня судить с художественной точки зрения?

— Моя черная лестница с кошачьим запахом еще ничего не доказывает. Возносясь духом над ее торжествующими зловониями, я очень хорошо вижу моего друга Бесселовского, лезущего на четвереньках по стеклянной горе, и вижу, как это смешно.

— Смешны только неудачи и неудачники.

— Нет, неправда, страшно смешно все запоздалое. Если бы я, старая дура, вдруг помолодела не вовремя или поверила, что до меня вы, мой друг, никого по-настоящему не любили и можете воспрянуть для добра и красоты на моих бедных костях, — это было бы смешно. Но быть министром, да еще просвещения, да еще в пятнадцатом году! — как у Золя, помните? Герой, побывавший премьером, как бы лишается гражданской невинности: первая любовь, обесчещение и позднее разочарование во зле<sup>66</sup>. Это в ваши-то бальзаковские годы! Смеяться будут.

— И напрасно. Никогда прежде я не был так пуст, гол и умен, как сейчас. Марксизм знаю лучше марксистов и абсолютно предан ему в теории. Это одна из немногих великих систем, доведенных до логического конца и доказанных, как господь бог у Декарта. Ни одного доказательства опровергнуть не могу, а в бога все-таки не верю. Держу банк, имею ключ и хочу быть еще великолепнее.

— Какое же тут великолепие? Просидите месяца два на ватном кресле (ваши собственные гораздо удобнее). А затем вас вместе со столом выкинет из окна какой-нибудь дурак или умник и подле, и еще голее вас. Без теоретического марксизма, но зато с дубовыми скулами. И ушибетесь, и штанки замараете.

— Идемте в столовую, Елисавета Алексеевна, там вы меня и добьете.

За завтраком Наталья Павловна сразу принялась за холодного цыпленка и слушала молча. Щечки ее покраснели, узкие губы разгорячились, и все, что сводилось за этим столом к нарушению ее воли и самого смысла ее существования, она как бы разделяла, как бы уничтожала вилкой и ножом, которыми владела в совершенстве. Цыпленок был ею распластан на фарфоровой тарелке, мясо отходило от костей, крылышки от прожаренного остова, жилы от лапок — так послушно, последовательно и изящно, точно для этого они только и существовали. Небольшое сердце коричневого цвета, как ненужное и немного неприличное, отодвинулось в сторону, к вензелю Бонарпата, таким же незаметным, в высшей степени твердым движением, каким Ковалевская устранила из своих отношений ненужные слова и ненужные чувства.

Как ни остра была голодная нимфа, а перед ее визави уже лежал остов совершеню цельный, голенький, очищенный до последней косточки, и внимательные глаза, переходя с него на Владимира Владимировича, молча обещали и его скушать бесшумно и грациозно.

Люди бедные в гостях не могут ничего есть из страха показаться некормленными. Но роскошь, которой они стараются не заметить, подымается к мозгу легким опьяняющим облачком. Все ощущения заострены, дух торжествует над жиром и тяжестью — это условная игра в праздник, бескорыстный обряд, ничем не связанный с четырьмя дубовыми лапами обеденного стола.

Бесселовскому было хорошо. Его радовала Ковалевская, у которой внутренний огонь, заваленный кучей грязных и неверных расчетов, исподтишка показывал жгучий язычок, опаливая им то кончик вексельного бланка, то длинный, лживый счет, делая прозрачно-красными палимые изнутри, обдуманные письма, превращая в пыльную горсть обещания, добытые упорством и страстными ухищрениями. И сейчас дьявол веселился в складках ее тихого, темного платья, прикрывая мохнатой лапкой лживые и трезвые глаза ее рассудка.

Елисавета Алексеевна ему доставляла удовольствие еще более сложное, интенсивное и изысканное. Он как бы стоял перед ней на коленях в самой утомительной, покаянной позе, как грешница перед строгим, перед неумо-

лимым, но тем более желанным, тем более соблазнительным исповедником. Бичевание ее чистым умом было ему совершенно необходимо. Весь его организм жаждал этих карательных бесед, как веника в душевной бане, после которой открывалась свежая страница, на которой он мог снова, со всем трепетом первого грехопадения, заносить колебания от черта к богу и обратно.

Наталья Павловна взяла тонкий стаканчик.

— За власть.

— Идет. Я часто о ней думаю, как древние о золотом дожде, о потоке жестокой радости, падающей на землю. Все знают ее физические свойства. Сколько я прочел и сам написал о насилии — знаю всю ее грязную генеалогию и еще более грязную историю. И все-таки без ослиной шкуры, без нашей любимой экономической подкладки, — она прекрасна. Да святится имя ее! — Они чокнулись, как влюбленные сообщники. — И пронизывающее это чувство господства! Как будто солнце нечаянно осветит угол хорошей картины или просто стекло, тонкую молочную корку фарфора — и так блеснет, так спокойно и радостно засветится, — жизнь милее во сто раз в такие минуты.

Он встал.

— Власть прекрасна, взволнованна, сильна. Хочу ее, Елизавета Алексеевна, ничего не поделать.

— Словом, затасканный портфель несется по воздуху и, как лирический голубь, садится на ваш письменный стол.

Наталья Павловна рассердилась.

— У каждой жизни свой стиль, как запах у писем; одни пахнут временем, другие нищетой, третьи любовью. Вы бедны, правда? и честолюбие не ваш аромат. Вот и все.

— Бедность мечтательна. Будь наш Владимир Владимирович Сперанским, Аракчеевым или просто фаворитом, я бы не спорила. Подумайте, любить Екатерину, получить вотчину за остроумие и за стоны любовницы, которые слышит весь лагерь через тонкие стены шатра, несмотря на барабанную дробь и шумочных передвижений, — это стиль, от которого и сейчас то стыдно, то хорошо, — страницы мемуаров бывают очень жгучи. Но, боже мой, какой же запах у власти, на которой сидел бедняжка Таубе со своей дурной болезнью?

Тотчас после завтрака Наталья Павловна простилась, и Веселовский продолжал более непринужденно:

— Поговорим о делах. Правда ли, что вы собираетесь издавать журнал, не то «Марат», не то «Робеспьер», — нечто вызывающее?

— Ну?

— Не надо. Во-первых, вас надуют и вы прогорите на втором номере, во-вторых, укусите всех, кого можно, и наживете новых врагов. В-третьих, — не время<sup>67</sup>.

— Вот в чем вы очень ошибаетесь.

— Лиза, я все поставил на noir<sup>68</sup>. Все до копейки, до последнего волоска. Если я ошибусь, если покойник не совершенно мертв, если его не едят черви со всех сторон, тогда я пропащий человек. Мой банк лопнет, как мыльный пузырь, и Наполеонов пустят с молотка. Такие вещи не делаются без совершенного убеждения.

— О, вы во что-то стали верить?

— Верю, что мерзавцы слева еще хуже мерзавцев справа. При одних я богат и дышу, при санкюлотах буду повешен за то, что все знал и ничего не делал. Наша жизнь кончится посреди светлой полярной ночи, неопределенной, переменчивой, освещенной только северным сиянием искусства.

Вдруг у Веселовского налились виски, голос охрип и визгнул.

— И революции не будет!

— Дурак.

— Вы думаете?

— Не думаю, а чувствую, знаю. Невозможно нарывать без конца.

— Вы субъективны. Ужасную жизнь, которую вы ведете по собственной глупости, нельзя принимать за что-то общее.

Она встала, и в сумерках Владимир Владимирович едва разглядел улыбку, но какую улыбку! На тонких губах появилась дрожь, покрытая легкой пепной. Белки широко открыты, и на их влажной эмали холдеет последний свет, как в окнах тех сумрачных и прекрасных дворцов, которые смотрят на Неву с невыразимым предчувствием горя. Лоб — в тысяче складок, желтый и сухой, в морщинах, вырытых мыслию, которая так много лет блуждала в глубоких шахтах со своим скрытым фонарем, со своим упрямым молоточком, и подземную добычу костлявой рукой отмечала на этом твердом, верно сохраняющем челе. Не стереть этих записей, не изгладить. Над жестокой плитой лба — две плавных дуги, две надежды, два крыла для мечты. Они созданы, чтобы осенять взгляд в бесконечность, в будущее, в невозможное: две круглых брови над глазами, впалыми, длинными, асимметричными.

Веселовский испугался: перед ним стояла Ника, богиня победы, крылатая. Ее лицо должно быть обезображенено, рука отломана, крылья тяжелыми от долголетней могилы, и все-таки она летит, напряженная, как тетива, она в чистом небе, озаренная золотым солнцем, обещает победу одним, другим — гибель и роковое унижение.

Владимир Владимирович почувствовал холод и свою любовь, которая шевельнулась, как ребенок, озябший во сне.

Собеседники сидели в сумерках, едва различая друг друга; становилось все темнее, и вечер был похож на все вечера. Так же резко пробегал трамвай, так же снег и небо бросали на пол свои отблески, таинственно и стройно.

— Я вас любил всегда, люблю и теперь, когда наша старая дружба должна расколоться.

И, помолчав:

— Когда человек собирается на такие подвиги, как я, ему не следует оглядываться назад. Поэтому если еще раз мне так захочется вас видеть, как сегодня, если я подумаю, что всей навозной кучи, взятой на плечи, могло бы не быть, — я, вероятно, погибну. Надеюсь, что этого не случится.

— Милый Володя, будем откровенны. Для того, чтобы вы спокойно могли жить, Большой Зелениной и нашему пятому этажу надо бы провалиться куданибудь. Ну, и я хорошо знаю, что если мы сами как-нибудь не пойдем ко дну, вы, дорогой друг, нам поможете. Наши боги не могут *(не)* разделиться — или ваш или наш. Станете министром, мы будем о вас писать в нашем сумасшедшем журнале, мы вас отхлещем насмерть.

Они стояли друг перед другом, как люди, готовые стать врагами. Она — тонкая и черная, он — приземистый, с короткой шеей, полной сил, с волосами, приподнятыми волнением, как у хищников.

— Вы правы, но все-таки я вас очень люблю.

— И я вас тоже.

Они обняли друг друга. Наполеоны бесстрастно смотрели в темноту мимо двух теней, так крепко, так горестно друг друга державших.

Это продолжалось столько времени, сколько нужно огню, чтобы упасть на вытянутую, обнаженную, вечно молодую вершину; и ветвям, листьям, всем волокнам, чтобы ощутить этот огонь, текущий мучительной струей сверху вниз, вдоль могучего ствола, и, наконец, в земле, глубоко под дрожащими корнями.

— Прощай!

*<6>*

Рудин ожил.

Топиков нарисовал его профиль на листе толстой матовой бумаги: с залитками слабых, длинных волос, с выпуклыми губами оратора, с острыми стоячими воротничками, края которых то и дело отодвигались торопливой узкой рукой во время пламенных речей и нерешительных признаний. Каждый из друзей и сотрудников вложил часть самого себя в этот забытый и зна-

комый, точно после долгой разлуки узнанный силуэт. И воля людей, собранная вместе, наградила вечного странника свойствами, которыми он никогда не обладал — действием и силой.

Внутри Гостиного двора есть особенные склады самых старых и уважаемых торговцев. Богатства, сложенные здесь, в тени и сырости, огромны и лишены всякого кокетства. Они не заигрывают с улицей, не обольщаются искусством блеском. Никакая мишуря не совместима с грудами кож, пахнущих еще потом и кровью, отверделых, накрытых вместо жира слоем плотного, уснувшего снега.

И выше всех громад лежат пласти бумаги, сложенные стопами в белые, как мрамор, утесы. К ним подходят покупатели, выдергивая чистый, ровный, пахнущий книгами лист, ею грузят ломовые подводы и грузовики, а бумага все так же неизмеримо велика и могуча. И как девственные, свежи белые русла, белые ручьи и потоки нетронутых, неразвернутых листов. На одни выпадают грязная печать газет или пыльные мелкие строки ученых трудов, на другие осужденных лежать в хранилищах Академии. Будут книги, которые переживают Гостиный двор и круглые часы на Думе, и такие, которые рождаются с мертвыми глазами и никогда их не откроют.

И, стоя между издателями и газетчиками, из которых одни, сняв перчатку, тут же, на дворе, остывшими толстыми пальцами подписывали чек, и другими, платившими временем, ловкостью и именем за страницы, на которых могла бы родиться слава, — тень «Рудина», бескорыстная тень, с руками, засунутыми в тощие карманы, купила для себя четырнадцать белых стоп за сто тридцать девять рублей сорок копеек.

— «Рудин», «Рудин», — говорили наборщики, нагибая к кассам нездоровье лица. Над их головами желтели керосиновые лампочки, и мастер, прохаживаясь в тесном помещении, ревниво наблюдал быстроту этих рук, усталых и привычных. Рядом журжал огромный овод, машина складывала и выбрасывала вперед сильные маслянистые локти. И всякий раз, как свежий лист, оторвавшись вдруг от темных сочных строчек печати, на двух перекладинах подымался наверх, чтобы со вздохом рождения и жизни, лечь рядом с другими, влажный вал отодвигался — и Рудин видел свое имя и лицо.

«Рудин», «Рудин» — какой это будет журнал? Станут ли его требовать все, не беря сдачи, развертывая у первого фонаря, или немногие чудаки без перчаток, согревающие последний серебряный голой холодной ладонью?

И газетчики встряхивали сумку с пестрым веером обложек, переступали валенками, вытирали нос под заиндевелым башлыком рукой в шерстяной митенке, с потрескавшимися на морозе пальцами.

— «Рудин», — повторили объявления на последних страницах газет. И на минуту патентованные средства, папиросы, бонны, репетиторы и галоши «Треугольник» приостановили свою междуусобную борьбу, чтобы взглянуть на странную голову в длинных старомодных волосах, бесшумно занявшую свое место среди них.

— «Рудин»? — они пожимали плечами и снова бросались друг на друга. — «Рудин»? — цензор открыл свежую страницу и записал это непонятное имя. Затем служитель отнес ее в темный шкаф и запер, точно нового пленника проводил в его камеру: тут ему и жить, и умереть.

«Рудин» — это не наш, — решил редактор либеральной газеты.

— И не наш, нет, не наш! — говорили в кожаном, дубовом, темном, пахнущем хорошими сигарами кабинете «Нового времени».

И в то время, как «Рудин» родился и тысячи людей повторяли его имя, гений с лукавым лицом бросил для него свои кости, сосчитал маленькие очки, к которым нельзя ни одного прибавить ни слезами, ни просьбами, и, улыбаясь, закрыл от чужих глаз своей божественной рукой их произвольный, непоправимо-счастливый или несчастный приговор.

## &lt;ФРАГМЕНТ III&gt;

# РУДИНЪ



1916. № 7

СЕДЬМОЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «РУДИН»

Февраль 1916 г.

Обложка по рисунку Е. И. Прáведникова  
С этого номера условное изображение Рудина  
на обложке приобрело сходство с портретом Ка-  
милла Демулене (здесь же напечатано стихо-  
творение Л. Рейснер «Камиллу Демулену»)

остановила голова почти миниатюрной отточенная рукой времени. Зеленая ржавчина на губах кажется скептической, складки на лбу полны воли, и необычайная жестокость в сильных скулах, нервной шее и маленьких хищных ушах. Что-то страшно современное и понятное было в этой голове. Какая-то самая низкая и простая струна <sup>75\*</sup> жизни издала глухой, полу-звериный, воинственный и вместе с тем глубоко человечный звук в пустой, нетопленной зале. И уже пройдя три комнаты и вместе с ними несколько древних культур, Ариадна еще раз обернулась, вспоминая это хрипение рога, скрип тетивы и тупую тяжесть щита, соединенные в одном лице.

Греция, всегда и навеки любимая, на этот раз испугала Ариадну своим изяществом и холодной белизной. Только архаические боги, тонкие в пояссе, широкие в плечах, с неподвижной улыбкой на ограниченно-прекрасных лицах, взволновали ее до глубины души. Аргонавты, воины, цари-мореплаватели, носившие в своих сильных жилах всю певучую кровь Эллады, прикрывшие тяжелыми щитами колыбель величайшей культуры, герои, рождавшие и богов, и поэтов на полях битв.

Какая-то девушка, с лицом, разбавленным снятым молоком, остановилась перед сторожем, исполненным недоверия и презрения к новым людям и новому времени:

— Где здесь Возрождение?

— Возрождение — дверь налево, потом еще раз налево.

Ариадна пошла за грязным платьем в бахроме и пачкой книг, прижатых к телу худым локтем, туда, где на двух конях, литых из чугуна, возвышались знаменитые статуи кондотьеров <sup>76</sup>.

<sup>75\*</sup> Далее зажеркнуто: борьба, звучащая во все века и всюду, где борются и побеждают, строят и защищают города и государства

На прием слишком рано. Как использовать этот час? Ариадна вспомнила полные губы демагога на своих пальцах и подумала о маникюре. Но за четкими ветвями сада, за решеткой, покрытой снегом, похожей, в пушке из инея, на молодые оленьи рога, ее позвало к себе большое и тихое здание из светлого камня, удивительное по своей простоте. Уже давно гордый и монументальный профиль колонн и карнизов привлекал ее внимание, и теперь, отряхивая в вестибюле мягкий снег с своего платья, Ариадна с радостью ощутила под ногами холодный мраморный пол музея <sup>69</sup>. Нетопленные залы пустынны. Кое-где перед тонкой и черной рукой мумии или ожерельями из эмали особенного, лиюще-голубого цвета, перед ассирийским львом, положившим в задумчивости голову на когтистые гранитные руки и вспоминающим потерянные тысячелетия, лениво стоит зритель-прохожий.

В покое, облицованном исполнинскими рельефами фараонов, Ариадну величины, литая из бронзы и давно

отточенная рукой времени. Зеленая ржавчина на губах кажется скептической, складки на лбу полны воли, и необычайная жестокость в сильных скулах, нервной шее и маленьких хищных ушах. Что-то страшно современное и понятное было в этой голове. Какая-то самая низкая и простая струна <sup>75\*</sup> жизни издала глухой, полу-звериный, воинственный и вместе с тем глубоко человечный звук в пустой, нетопленной зале. И уже пройдя три комнаты и вместе с ними несколько древних культур, Ариадна еще раз обернулась, вспоминая это хрипение рога, скрип тетивы и тупую тяжесть щита, соединенные в одном лице.

Греция, всегда и навеки любимая, на этот раз испугала Ариадну своим изяществом и холодной белизной. Только архаические боги, тонкие в пояссе, широкие в плечах, с неподвижной улыбкой на ограниченно-прекрасных лицах, взволновали ее до глубины души. Аргонавты, воины, цари-мореплаватели, носившие в своих сильных жилах всю певучую кровь Эллады, прикрывшие тяжелыми щитами колыбель величайшей культуры, герои, рождавшие и богов, и поэтов на полях битв.

Какая-то девушка, с лицом, разбавленным снятым молоком, остановилась перед сторожем, исполненным недоверия и презрения к новым людям и новому времени:

— Где здесь Возрождение?

— Возрождение — дверь налево, потом еще раз налево.

Ариадна пошла за грязным платьем в бахроме и пачкой книг, прижатых к телу худым локтем, туда, где на двух конях, литых из чугуна, возвышались знаменитые статуи кондотьеров <sup>76</sup>.

<sup>75\*</sup> Далее зажеркнуто: борьба, звучащая во все века и всюду, где борются и побеждают, строят и защищают города и государства

И в то время, как несколько посетителей, проскользнув перед самыми копытами всадников, издали любовались их громадой,— Ариадна стояла и не могла удержать смеха. В черных латах, с ногами, вытянутыми вдоль железных ребер коней, с оружием в руке и с лицами, лишенными всего человеческого, с лицами, проламывающими века волей, силой,— они были так знакомы и понятны. Эти рыцарские доспехи, плотно облегающие грудь и бедра, эти широкие пояса на кольчатах рубашках и, наконец, головы, свободно выглядывающие из плотных воротников, казались кожаными — кожаными черными одеждами, которые так любит гражданская война и которые она украшает только красной звездой. Значит, они все те же и <sup>76\*</sup> теперь, в этой небывалой борьбе за господство над новым миром, все еще живы и молоды древние орлиные были.

Из Египта, со стен, скованных неумолимой условностью, с фронтона Эгинского храма, с цоколей виллы Медичи — отовсюду протянуты руки сильных, руки тех, что были владыками мира, чьи грехи замаливали потом поколения святых, чьей мощью оплодотворено искусство многих веков. Этот, на коне, готовом сорваться с пьедестала, с копытом, бесстрашно занесенным в пустоте, этот, немолодой,— само мужество, пресыщенное почестями и добычей, сама верность, непреклонная, пока на нее опираются с полным доверием,— его нужно послать на Южный фронт <sup>71</sup>, как он есть, и комиссаром к нему назначить осторожного, лукавого, с желтоватым цветом лица и рясой, застегнутой у подбородка, великолепного Маккиавелли.

Вот и другой, умерший рано и лежащий в саркофаге со сложенными руками, рядом с безгрешной супругой, у которой смерть не может отнять точеной шеи и лилейных рук. Он мог бы идти на Восток, и там, за Уралом, в степях, занесенных снегом, среди многонедельных выног, способных усыпить и обмануть даже сильный и изощренный разум, эта рыцарственная простота и преданность долгу спасли бы войско и победу. Вероятно, он проходил пустыни Святой земли, не заботясь о пище и воде, один, вечно бодрый среди слабых и изнемогающих. В снегах под Омском и при переправе через Тобол он бы не дрогнул <sup>72</sup>.

О, совсем иначе *(выглядит)* кондотьер, идущий в бой без шлема, со свистом ветра в продолговатых, женственных ушах. Он так же на коне, как могучий <sup>77\*</sup>, и конь его даже опирается на чугунное ядро. Этот опасен. Ядро — круглое, живое, подвижное, каждое мгновение оно может бежать, и тогда конь и всадник, лишенные последнего устоя, наполнят все пространство вокруг себя разнудзданной, играющей, страстью стихией. Откинутый лоб — это слабость и порок, сентиментальность и меланхолия, при железной челюсти и налитых губах,— партизан, без вчера и без завтра, на все способный и ничем не ограниченный. У нас он бы попал на юг, глубоко в тыл Деникину <sup>78\*</sup>, на Кавказ, или в Туркестан <sup>73</sup>, как прежде за Флоренцию против Пизы, за Ломбардию против Тосканы. И всюду за его дикой конницей, за крадеными драгоценностями, прекрасными женщинами <sup>79\*</sup>

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Протагор (ок. 480—ок. 410 до н. э.) — древнегреческий философ-релятивист; основатель школы софистов, автор известного тезиса «человек есть мера всех вещей»; был обвинен в атеизме, а его трактат «О богах» подвергнут сожжению. Горгий (ок. 483—375 до н. э.) — древнегреческий софист; в трактате «О несуществующем или о природе» доказывал невозможность познания окружающего мира. Платон (427—347 до н. э.), утверждавший существование незыблемого мира вечных идей, бледной тенью которых является изменчивый лик природы, не принимал скептического мировоззрения софистов и так же, как его учитель Сократ, polemизировал с ними. Рейннер ошиблась: таким образом окончил свою жизнь не Платон, а Сократ. Приговоренный к смерти за «развращение» молодежи, заключавшееся в критике религиозных устоев афинского общества, Сократ позвал друзей и у них на глазах выпил кубок яда.

<sup>76\*</sup> Далее зачеркнуто: в Революции

<sup>77\*</sup> Далее в автографе пропущено слово и для него оставлено место.

<sup>78\*</sup> Далее зачеркнуто: с конницей

<sup>79\*</sup> На этом текст обрывается.

<sup>2</sup> Рисунки с таким именно сюжетом (а также с названными ниже) в «Рудине» не появлялись. Однако этому сюжету близок ряд рисунков С. Н. Груzenberga (см. о нем вступит. статью к наст. публикации и прим. 24 к ней), помещенных в декабрьском номере журнала за 1915 г. (№ 3, с. 2, 10, 13).

<sup>3</sup> По-видимому, здесь имеются в виду «Очерки по истории русской культуры» П. Н. Милюкова (ч. I—III. СПб., 1896—1903), весьма популярные в среде русской буржуазной интеллигенции и неоднократно переиздававшиеся. В них наиболее полно выражалась историческая концепция Милюкова: он приписывал государственной власти надклассовый характер и считал ее основным двигателем исторического развития России, отвергая роль классовой борьбы в этой стране.

<sup>4</sup> Рейснер приписывает Агасферу участие в событиях, которых нет в легендах о «Вечном жиده», наказанном бессмертием за то, что он не позволил отдохнуть идущему на казнь Христу. Ее Агасфер — мятежник, участник народных возмущений — открывает ряд аналогичных трансформаций, которым подвергались на страницах романа образы, созданные художниками прошлого.

<sup>5</sup> На Михайловской площади в Петербурге (ныне пл. Искусств), в подвале дома Дацкова (д. 5) в 1912—1915 гг. помещалось литературно-артистическое кабаре «Бродячая собака». Здесь собирались представители литературной, артистической и художественной среды, выступали с чтением своих произведений известные поэты, демонстрировали свое искусство выдающиеся артисты, устраивались художественные выставки и лекции. Это делало «Бродячую собаку» заметным явлением в культурной жизни Петербурга. Официальное название, под которым кабаре значилось в адресных книгах столицы, — «Художественное общество интимного театра». Главным организатором его был артист театра В. Ф. Комиссаржевской Борис Константинович Пронин (1875—1946). В числе завсегдатаев «Бродячей собаки» были представители «Цеха поэтов» (см. ниже, прим. 16) и художники группы «Мир искусств». Атмосфера, царившая там, описана в мемуарах современников: В. П. Веригина. Воспоминания. Л., «Искусство», 1974, с. 172—174; Т. П. Каравина. Театральная улица. Л., «Искусство», 1971, с. 220—221; В. Пяст. Встречи. М., «Федерация», 1929, с. 249—275. После закрытия «Бродячей собаки» ее приемником стал «Привал комедиантов», находившийся на Марсовом поле (д. 7).

<sup>6</sup> По-видимому, Рейснер имеет в виду картину Э. Мане «Бал в Фоли-Бержер». Подобные сюжеты есть также у Э. Дега («Кафе дез амбассадер») и О. Ренуара («Мулен дез Галетт»).

<sup>7</sup> Помещение «Бродячей собаки» состояло из двух комнат. В первой, где находились столики и буфет, была эстрада. Во второй — по стенам и в центре стояли диваны. Здесь «висело панно Сапунова с изображением лани и женских фигур в серо-голубых тонах. Стены главной комнаты расписывал Судейкин. Сказочные птицы сияли чудесными красками, огромные цветы, подобные цветам из «Смерти Тентажиля» (драма М. Метерлинка.—Ред.), здесь носили название «Бодлеровских цветов зла» (В. П. Веригина. Воспоминания, с. 173). Николай Николаевич Сапунов (1880—1912) — художник из группы «Мир искусств»; после его смерти над оформлением кабаре продолжал работать Сергей Юрьевич Судейкин (1883—1946), принадлежавший к той же группе, — он расписывал его «всесвой змы» (В. Пяст. Встречи, с. 226).

<sup>8</sup> Гафиз — Н. С. Гумилев (см. вступит. статью к наст. публикации и прим. 34 к ней).

<sup>9</sup> «Пожилой лирик» — Федор Сологуб (1863—1927). Далее Рейснер по памяти цитирует его стихотворение «Целуйте руки...» (1902), напечатанное в его сборнике «Пламенный круг» (М., «Золотое руно», 1908), а затем в «Собрании сочинений» (т. 5. СПб., «Сирин», 1913). Неточности в цитате исправлены без оговорок.

<sup>10</sup> Жена Сологуба — Анастасия Николаевна Чеботаревская (1876—1921), писательница и переводчица, в соавторстве с мужем написала несколько пьес Рейснер неточно нарисовала ее облик: в действительности Чеботаревская преклонялась перед дарованием Сологуба и всячески его оберегала. Она занималась издательскими делами мужа, ей принадлежит ряд статей о творчестве Сологуба и ею же составлен сборник «О Федоре Сологубе. Критика. Статьи и заметки» (СПб., «Шиповник», 1911), в котором собраны только положительные отзывы о творчестве писателя. После смерти жены Сологуб посвятил ее памяти сборник стихов «Одна любовь» (Пг., 1921).

<sup>11</sup> Михаил Алексеевич Кузмин (1872—1936) — поэт, прозаик и драматург. В поэзии с символизмом выдвинул близкий акмеистам лозунг «кларизма» — «прекрасной ясности» («Аполлон», 1910, № 4, январь). В своем отзыве о первом стихотворном сборнике Кузмина «Сети» (1907) В. Брюсов писал: «Все, даже трагическое, приобретает в его стихах поразительную легкость, и его поэзия похожа на блестящую бабочку, в солнечный день порхающую в пышном цветнике» (Валерий Брюсов. Далекие и близкие. М., «Скорпион», 1912, с. 171). Художественный уровень творчества Кузмина (особенно его прозы) был неровным. Порой он помещал свои произведения в «желтой», бульварной прессе (типа нововременного «Лукоморья»).

<sup>12</sup> «Фармацевтами» иронически называли в «Бродячей собаке» чуждую искусству буржуазную публику, которая охотно посещала это кабаре. По свидетельству В. А. Пяста, придумал это название художник Сапунов (В. Пяст. Встречи, с. 266—267).

<sup>13</sup> Переодеться в мужское платье Розалинду, геронию комедии Шекспира «Как вам это понравится», отец и возлюбленный узнают в последнем акте.

<sup>14</sup> Подразумевается Аким Волынский (наст. имя — Аким Львович Флексер; 1863—1926), литературный критик и искусствовед. В 1889—1898 гг. он был ведущим критиком журнала «Северный вестник», где выступал как сторонник идеалистической эстетики

и ярый противник революционно-демократической критики. Собрал свои статьи в кни-  
гах: «Русские критики». СПб., 1896; «Борьба за идеализм». СПб., 1900; «Книга великого гнева». СПб., 1904. В 1900-х годах обратился к изучению живописи и театра, преимущественно балета. После революции руководил хореографическим техникумом и выпустил работу об искусстве танца («Книга ликований», 1925). Л. В. Никулин вспоминает свои впечатления от встречи с Волынским в 1920 г.: «В сущности, он был памятником самому себе — уже давно не принимали всерьез его, автора трудов о Достоевском, оппонента Писарева. На склоне лет он стал восторженным почитателем балета» (Лев Никулин. Люди и странствия. Воспоминания и встречи. М., «Сов. писатель», 1962, с. 100).

<sup>15</sup> Такой поэмы в архиве Рейснер нет. Рассказ о содержании поэмы Ариадны автобиографичен лишь в той мере, в какой он характеризует бунтарский характер героини и ее предчувствие «близкого социального пожара». О «гиганте на бронзовом коне» Рейснер написала стихотворение «Медному всаднику» («Рудин», 1916, № 8) с эпиграфом из поэмы Пушкина, перекликающимся с пафосом поэмы Ариадны («Добро, строитель чудотворный! — Ужо тебе!»).

<sup>16</sup> «Цех поэтов» — литературная организация акмеистов во главе с Н. С. Гумилевым. Существовал в Петербурге в 1911—1914 гг. (возобновил свою деятельность в 1918—1923 гг.). По воспоминаниям В. Яст (Встречи, с. 254), в числе завсегдатаев «Бродячей собаки» были не только ведущие члены «Цеха», но и младшие представители его (Г. Адамович, Иванов и др.); они выведены в романе под именем «двадцатилетних эпикурейцев».

<sup>17</sup> Владимир (Вольдемар) Казимирович Шилейко (1891—1930) — поэт и переводчик, известный специалист по древнейшим культурам Передней Азии, научный сотрудник Эрмитажа (1913—1919) и Археологического института (1919—1922), профессор Петроградского университета (1922—1923), зав. отделом Древнего Востока в Музее изобразительных искусств (1923—1930). Как поэт был близок к акмеистам, печатался в журнале «Цеха поэтов» «Гиперборей» (1912—1913). Один из постоянных гостей «Бродячей собаки», он пользовался среди ее посетителей значительным авторитетом; суждения, высказанные им в происходивших там дискуссиях о современной поэзии, отличались непримиримостью по отношению к произведениям, в которых звучала злободневность (В. Яст. Встречи, с. 277—278).

<sup>18</sup> Об М. А. Рейснере, отце писательницы, послужившем прототипом отца героини романа, см. во вступит. статье к наст. публикации.

<sup>19</sup> Гога — брат писательницы, Игорь Михайлович Рейснер (1898—1958), — в то время, когда происходит действие романа, был гимназистом; впоследствии — востоковед, профессор Московского университета (1934—1958). По-видимому, Гога читал сестре отрывок из поэмы Овидия «Метаморфозы» (кн. X), где говорится об Орфее, чарующее звание которого подчиняло природу и укрощало гнев богов.

<sup>20</sup> Под именем Ursin (Урс, Ursic) выведен Николай Максимович Токий, студент Психоневрологического института, ученик М. А. Рейснера (см. ГБЛ, ф. 245, 11.48, л. 22). Так называли его в студенческом кругу и в семье Рейснеров (см. письмо Рейснера родителям от 10 апреля 1922 г. — ГБЛ. ф. 245, 5.14, л. 29). Это прозвище образовано от франц. слов: ursin — медвежий, ours — медведь. Возможно, что оно возникло по ассоциации с именем Урса — одного из героев романа Б. Гюго «Человек, который смеется». См. также объяснение, которое далее дает этому прозвищу автор романа (см. фрагмент II, гл. 3).

<sup>21</sup> Лев Иосифович Петражицкий (1867—1931) — в 1898—1918 гг. приват-доцент, затем профессор Петербургского университета по кафедре энциклопедии и философии права; член партии кадетов; в 1906 г. депутат Первой Государственной думы; с 1918 г. — эмигрант. Его основной труд — «Геория права и государства в связи с теорией нравственности», т. I—II. СПб., 1907. В нем Петражицкий развивал положения так называемой психологической школы права, согласно которым причины, обусловливающие существование и действие права, коренятся не в социально-экономических и классово-политических условиях общества, а в психологии личности или социальной группы.

<sup>22</sup> Статья М. А. Рейснера о книге Петражицкого была напечатана значительно раньше («Русское богатство», 1908, № 1,2) и составила первую часть его труда «Геория Л. И. Петражицкого, марксизм и социальная идеология» (СПб., 1908). Рейснер сочувственно относился к идеям Петражицкого, разделял многие положения его теории, под влиянием которой развивал идею «пролетарского интуитивного права», подвергнутую критике в 1920-х годах.

<sup>23</sup> Павел Сильванский — персонаж вымышленный, так же как и дальнейший рассказ о прорвале его диссертации. Однако фамилия, которую дает ему автор, указывает на один из его прототипов. Это Николай Павлович Павлов-Сильванский (1869—1908), историк и правовед, профессор Высших женских курсов и ряда демократических учебных заведений Петербурга (Высшей вольной школы П. Ф. Лесгафта и др.). Он впервые доказал наличие феодального периода в истории русского общества и один из первых начал серьезное изучение русского революционного движения и русской общественной мысли. Ему принадлежат: биография А. Н. Радищева в первом легальном издании «Путешествия из Петербурга в Москву» (СПб., 1905), одним из инициаторов и редактором которого он был; исследование о крестьянских волнениях при Павле I; статья «Пестель перед Верховным уголовным судом» и др. работы в области истории освободительного движения России («Сочинения», т. I—III. СПб., 1909—1910). Исторические исследования и опыт первой русской революции привели его к выводу, высказанному им в 1906 г. во вступительной лекции к курсу русской истории: «...мы переживаем одну из величайших эпох нашей истории и, может быть, вступаем в преддверие одной из величайших эпох в истории все-

мирной» («Вопросы историографии и источниковедения истории СССР». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1963, с. 620). Взгляды Павлова-Сильванского на процесс исторического развития России, в частности, на генезис государственной власти, находились в резком противоречии с официальной исторической наукой. В семье Рейснеров эти взгляды находили полное сочувствие — они во многом отвечали воззрениям М. А. Рейснера на русскую государственность и на перспективы русского освободительного движения (см. вступит. статью к настоящ. публикации). В речи, которую Л. Рейснер вкладывает далее в уста своего Сильванского, звучит отголосок этих воззрений ее отца. Поэтому М. А. Рейснера можно считать вторым прототипом этого персонажа.

<sup>24</sup> Вячеслав Михайлович Грибесский (1867—?) в 1909—1911 гг. профессор Новороссийского университета, автор ряда книг по истории и теории государственного права («Настоящее и будущее парламентаризма». СПб., 1906; «Государственное устройство и управление Российской империи». Одесса, 1912 и др.). В 1911 г., в разгар репрессий, предпринятых министром народного просвещения Л. А. Кассо в отношении прогрессивной университетской профессуры, Грибовский занял, по личному назначению министра, кафедру истории русского права в Петербургском университете; это вызвало демонстрации протеста со стороны студенчества. После 1917 г. эмигрировал.

<sup>25</sup> Семен Осипович Груzenберг (1876—1938) — приват-доцент Психоневрологического института. Значительной популярностью пользовались его книги по философии: «Пессимизм как вера и миропонимание» (М., 1908), «Учение Шопенгауэра о праве и государстве» (М., 1910), «Очерки современной русской философии» (СПб., 1911) и др. В первой из них автор уделяет большое внимание рассмотрению «пессимизма» Толстого.

<sup>26</sup> Джакомо Леонарди (1798—1837) — знаменитый итальянский поэт и философ, прорвавший с феодально-католическим мировоззрением.

<sup>27</sup> Крысоло (или «Флейтист из Гаммельна») — герой немецкой средневековой легенды. Обладал магической силой — его игра на флейте увлекала за ним всех, кого он хотел. Он вывел из Гаммельна крыс, наводнивших город, а затем, обиженный неблагодарностью жителей, увел за собой их детей.

<sup>28</sup> Господин Бержере — центральный персонаж тетралогии Анатоля Франса «Современная история». Его устами автор разоблачает оплот государственной власти Франции — «триумвират: священник, финансист, солдат». Аналогия между Сильванским и героем Франса подчеркивает политический смысл воззрений Сильванского, неприемлемый для представителей официальной науки.

<sup>29</sup> Во второй части трилогии Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист» (в романе «Воскресшие боги») описывается летательный аппарат, изобретенный Леонардо да Винчи (Полн. собр. соч., т. III. СПб.—М., изд. М. О. Вольф, 1911, с. 11—12.)

<sup>30</sup> В типографии Ф. Н. Альтшулера (Петроград, Фонтанка, 96) печатался «Рудин».

<sup>31</sup> Рейснеры жили в Петрограде по адресу: Петроградская сторона, ул. Большая Зеленина, д. 26-б, кв. 42. Здесь же помещалась контора журнала «Рудин».

<sup>32</sup> А. Тоников — псевдоним Е. И. Праведникова; Хитрово — псевдоним Е. А. Рейснер (см. вступит. статью к настоящ. публикации и прим. 25 и 26 к ней).

<sup>33</sup> Александр Иванович Ефремов — руководитель «Товарищества торговли произведениями печати на станциях железной дороги (А. С. Суворин и К°)», которое имело монополию на продажу всех произведенений печати во всех железнодорожных кiosках России. Рейснер заключила с Ефремовым договор на распространение «Рудина» и зимой 1915—1916 г. дважды приезжала в Москву для переговоров с ним (эти поездки отражены в расходных документах по изданию журнала — ГБЛ, ф. 245, 9.12, л. 107 и 113 об.). Далее в романе рассказано о ее первом посещении Ефремова, а второе описано Л. В. Никулином: «...моя юная знакомая должна была получить с него деньги, причитающиеся за продажу журнала «Рудин». Деньги платили в установленные сроки, но Ларисе Михайловне надо было их получить сейчас же, немедленно, потому что в противном случае журнал прекратил бы свое существование.

Руководителем контрагентства был некто Ефремов, человек жесткий и несговорчивый, и, сопровождая Ларису Михайловну в ее деловых визитах, я видел, как холодно отвечали на ее вопросы служащие контрагентства. Это ее не смущало, не смущало и то, что она сама увидела толстые пачки порыжевшего на солнце журнала с лаконическим штампом: «Возврат». Она отважно вошла в кабинет Ефремова. Не знаю, о чем она говорила с этим бесчувственным доверенным Сувориных, но, против всех своих правил, он заплатил ей в тот же день то, что полагалось, и немногочисленные читатели «Рудина» были еще раз порадованы очередным и последним выпуском журнала» (Лев Никулин. Люди и страны. Воспоминания и встречи. М., «Сов. писатель», 1962, с. 92—93). Взаимоотношения Рейснер с Ефремовым отражены также в ее письме к нему (февраль 1916 г. — ГБЛ, ф. 245, 5.4).

<sup>34</sup> Здание «Лоскутной гостиницы» (Тверская, 3) не сохранилось. Суворинское «Товарищество» поменялось в Козицком переулке (д. 2). Л. В. Никулин вспоминает свою первую встречу с Рейснер в феврале 1916 г. в «Лоскутной гостинице»: «...я в первые минуты буквально лишился дара речи от контраста — старая купеческая «Лоскутная гостиница» (так она называлась), полуутомные коридоры, просторные номера с бархатными шторами и драпировками, мебель красного дерева, самовар на овальном столе, филипповские кашпи — и у письменного стола со множеством ящиков молодая, очень привлекательная девушка с милой улыбкой, высоким лбом, над которым, как венец, уложены две туго заплетенные косы» (Лев Никулин. Указ. соч., с. 92). В этой же гостинице Рейснер жила летом 1919 г., перед отъездом на фронт (Там же, с. 94).

<sup>35</sup> С. М. Проппер — редактор-издатель газеты «Биржевые ведомости» (СПб., 1880—1917). Газета отличалась беспринципностью, продажностью и бульварным характером.

<sup>36</sup> Саломея — здесь героиня одноименной драмы О. Уайльда (1893; русский перевод — М., 1904); охваченная всепоглощающей страстью, она попирает принципы нравственности и даже простой человечности.

<sup>37</sup> Кинематографа с таким названием в Москве не было. На Страстной площади (ныне пл. Пушкина) находился кинематограф «Шануар» (здание его не сохранилось).

<sup>38</sup> О роли М. А. Рейснера в журнале «Рудин» см. во вступит. статью к настоящ. публикации.

<sup>39</sup> Топиков — художник Е. А. Праведников (см. о нем. вступит. статью к настоящ. публикации и прим. 25 к ней).

<sup>40</sup> Николай Семенович Самокиш (1860—1944) — художник-баталист, с 1913 г.—профессор Академии художеств, руководитель батального класса. Сатирическому дарованию Праведникова был чужд характер батальной живописи Самокиша. Иллюстрации Праведникова к книге Рейснера «Фронт», выполненные в середине 1920-х годов, по манере исполнения и выбору сюжетов резко отличаются от приемов Самокиша.

<sup>41</sup> Легенда гласит, что библейский царь Соломон хитростью раскрыл тайну царицы Савской, умело скрывавшей свой физический недостаток. «Песнопения» — любовные песни, приписанные Соломону и вошедшие в Библию под названием «Песнь песней».

<sup>42</sup> Далее в рассказе Елисаветы Алексеевны так же, как и в одном из последующих эпизодов (фрагмент II, гл. 4), нашли отражение реальные обстоятельства жизни семьи Рейснер.

<sup>43</sup> Уильям Хогарт (1697—1764) — английский живописец и график. Ему принадлежит ряд сатирических серий картин и гравюр, иллюстрирующих нравы современного ему общества.

<sup>44</sup> Официально редактором-издателем «Рудина» значилась Надежда Генриховна Лещенко, прислуга Рейснеров. В архиве Л. Рейснер хранится свидетельство на право издания журнала «Рудин», выданное петроградским градоначальником на имя Лепченко 7 октября 1915 г. (ГБЛ, ф. 245, 9.11).

<sup>45</sup> «Речь» — ежедневная газета, центральный орган партии кадетов (СПб., 1906—1917); выходила под редакцией П. Н. Милюкова и И. В. Гессена.

<sup>46</sup> Николай Васильевич Чайковский (1850—1926) — в начале 1870-х годов — член революционного кружка народников («чайковцев»), в 1874—1906 гг. — эмигрант. В 1904—1910 гг. примыкал к эсерам. В годы первой мировой войны занимал откровенную социал-шовинистическую позицию, был одним из руководителей Всероссийского союза городов, созданного либеральной буржуазией с целью организации тыла. В 1916! г. участвовал в разработке плана дворцового переворота, имевшего целью довести войну «до победного конца». После Октябрьской революции — активный враг Советской власти, белоэмигрант.

<sup>47</sup> Элиза Рашиль (1821—1858) — знаменитая французская tragédie актриса. Возможно, что сравнивая с ней свою мать, Рейснер имела в виду строки Герцен: «Она не хороша собой, не высока ростом, худа, истомлена, но куда ей рост, на что ей красота, с этими чертами, резкими, выразительными, проникнутыми страстью? (...) А голос, — удивительный голос! — он умеет приголубить ребенка, шептать слова любви — и душить врага...» (А. И. Г е р ц е н. Собр. соч. в 30 томах, т. V. М., Изд-во АН СССР, 1955, с. 52—53).

<sup>48</sup> Refugié — изгнаник (франц.). Так Герцен в «Былом и думах» называет политических эмигрантов.

<sup>49</sup> Карильон или карийон (от франц. carillon — трезвон) — ударный музыкальный инструмент, представляющий собой набор небольших настроенных колоколов; с XV в. получил распространение в странах Западной Европы, где устанавливается на зданиях городских ратуш и церковных колокольнях.

<sup>50</sup> Прототип Веселовского — Владимир Владимирович Святловский (1869—1927) начал свою общественную деятельность с участия в первомайских сходках 1891—1892 гг. и в 1892 г. был вынужден эмигрировать. По возвращении в Петербург (1898) включился в социал-демократическое движение (позже примкнул к меньшевикам). В ноябре 1905 г. был избран в Центральное бюро профессиональных союзов и стал редактором его органа — журнала «Профессиональный союз»; затем вошел в Исполком Петербургского Совета рабочих депутатов. После поражения первой русской революции Святловский отошел от революционной деятельности и заметно поправил в своих взглядах. Основным его занятием стала научная и преподавательская деятельность — он был профессором Петербургского университета и Психоневрологического института, занимался исследованиями в области политической экономии, истории рабочего движения, а также истории литературы; выпустил два сборника стихов («Янтарь», Пг., 1916; «Седые города», Пг., 1917). Вместе с тем Святловский был весьма озабочен своим личным обогащением и с этой целью принял на себя обязанности председателя правления «Общества взаимного кредита печатного дела», а также управляющего делами вел. кн. Александра Георгиевича (герцога Лейхтенбергского). Заботливо поддерживая свою репутацию либерала (он один из первых начал читать в университете курс истории социализма, главным же предметом его многочисленных научных исследований была история и практика профессионального движения), Святловский умело балансировал в годы репрессий, которым подвергались прогрессивно настроенные профессора со стороны министра народного просвещения Л. А. Кассо,

и сохранил прочное положение в университете. После Октябрьской революции Святловский проявил лояльность по отношению к Советской власти, продолжал преподавательскую деятельность и выпустил ряд книг («Русский утопический роман». Пг., 1922; «Каталог утопий». М.—Пг., 1923; «История профессионального движения в России». Л., 1924 и др.).

Несмотря на расхождение общественных позиций, которое с годами все углублялось, дружеские связи семьи Рейснеров со Святловским не прерывались, хотя его коробил «нигилизм» друзей, а их возмущала его измена идеалам юности: «...кого любят, на того не обижаются,— писала Святловскому Е. А. Рейснер в ответ на его упреки в бунтарстве, адресованные Ларисе,— поставьте вопрос так: почему жутко стало мне за вас, мне, вашему другу!» И далее: «Кто был без Sturm und Drang — да осудит, кто был с юностью Володи Святловского, да обнимет! (...) А страшно стало вот за что ...Володя № 10 — это жалкая карикатура на моего Володю № 1» (ГБЛ, ф. 245. 3.10, л. 1 об.).

<sup>51</sup> Святловский жил на 5-й линии Васильевского о-ва (д. 2), на углу Университетской набережной, т. е. почти напротив Сенатской площади (ныне пл. Декабристов).

<sup>52</sup> Жозефина Бонапарт (1763—1814; в первом браке Богарне) — первая жена Наполеона Бонапарта.

<sup>53</sup> В 1796 г. Наполеон возглавил Итальянскую кампанию, что вызвало недовольство генералов, в ней участвовавших. Лазар Гош (1768—1797) и Пьер Ожеро (1757—1816) — военные деятели, выдвинувшиеся на высокие посты в эпоху французской буржуазной революции XVIII в. Из них участвовал в Итальянской кампании только Ожеро.

<sup>54</sup> Бой у Аркольского моста (1796) — один из решающих моментов Итальянского похода. На известном портрете Антуана Гро (1797) Наполеон изображен в момент атаки на Аркольском мосту.

<sup>55</sup> Коронация Наполеона (1804) происходила в соборе Парижской богоматери. Папа Пий VII прибыл в Париж, чтобы возложить на него корону, но во время церемонии Наполеон вырвал ее у папы и возложил себе на голову собственными руками (это «театральное коронование» изображено на картине Луи Давида «Коронация Наполеона», 1805). Став императором, Наполеон повел открытую борьбу с папой, стремясь лишить его светской власти. В 1808 г. он занял Рим, присоединил Папскую область к своей империи и выслал Пия VII в Савону, объявив о прекращении политической власти папы.

<sup>56</sup> В битве при Риволи (13—15 января 1797 г.) Наполеон нанес решающее поражение австрийским войскам, в результате которого вся Северная Италия оказалась в его руках. Раненный в ногу, он не оставил поля боя и продолжал руководить сражением.

<sup>57</sup> Рейснер ошиблась: в описанной ею позе на известной картине Луи Давида изображена не знаменитая французская актриса Анна Франсуаза Марс, а мадам Юлия Аделаида Рекамье, салон которой приобрел европейскую известность в конце XVIII — нач. XIX в.

<sup>58</sup> Жозеф Фуш (1759—1820) — французский политический деятель, поддержавший Наполеона во время переворота 18 брюмера; министр полиции в годы империи. Лавировал между Бурбонами и Наполеоном, предавая оба лагеря. Беспринципность политических позиций, продажность и склонность к интригам сделали имя Фуше нарицательным. Страх перед двойной игрой, которую он вел, заставил Наполеона уволить Фуша в отставку.

<sup>59</sup> Вторая жена Наполеона Мария-Луиза была дочерью австрийского императора. Их сын Наполеон (1811—1832) воспитывался при дворе своего деда и жил с матерью в замке Шенбрунн под Веной.

<sup>60</sup> Во время Отечественной войны 1812 г. в России были очень популярны многочисленные карикатуры И. И. Теребенева на Наполеона и его армию (раскрашенные гравюры, сопровождавшиеся текстами).

<sup>61</sup> Описка: правильно — Полина Боргезе (сестра Наполеона).

<sup>62</sup> Дальнейшее описание книг в библиотеке Веселовского совпадает с научными интересами его прототипа в области политической экономии: докторская диссертация Святловского была посвящена развитию древнерусской денежной системы, а в последние годы жизни он выпустил книгу «Происхождение денег и денежных знаков» (М.—Пг., Гиз., 1923).

<sup>63</sup> Давид Рикардо (1772—1823), в трудах которого нашла завершение классическая буржуазная политическая экономия Англии, положил начало движению фритредеров. Это направление в экономической политике английской буржуазии исходило из требования свободы торговли и невмешательства государства в дела предпринимателей. О фритредерах — последователях Рикардо — Святловский писал в книге «История социализма». Пг., «Былое», 1922, с. 123—127.

<sup>64</sup> Такой книги у Святловского не было. Однако название, которое дает ей Рейснер, соответствует роли Святловского в профсоюзном движении 1905—1906 гг. и подчеркивает былую радикальность политических позиций персонажа романа.

<sup>65</sup> Барон Михаил Александрович Тайбе (1869—1916) занимал должность товарища министра народного просвещения; в последние годы жизни неоднократно исполнял обязанности министра во время его отсутствия. Активно поддерживал реакционную политику министра Л. А. Кассо.

<sup>66</sup> Герой романов Э. Золя «Завоевание Плассана» и «Его превосходительство Эжен Ругон» достиг поста председателя Государственного совета. Золя характеризует политическое окружение Ругона как «клику», а выборы, которые привели его к вершинам власти, называет «помойной ямой».

<sup>67</sup> Святловский несколько иначе относился к журналу Рейснеров: он напечатал в «Рудине» два стихотворения (1915, № 2, 3) и частично финансируя его издание (ГБЛ, ф. 245, 9.12).

<sup>68</sup> Noir — черное (*franç.*). Делать ставку на черное (или на красное) — термин, употребляемый при игре в рулетку, поля и цифры которой окрашиваются в эти цвета. Здесь игра слов: Веселовский ставит на черное, т. е. на реакцию.

<sup>69</sup> Музей изящных искусств им. Александра III в Москве (основан в 1912 г.) — ныне Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

<sup>70</sup> Кондотьеры — предводители наемных отрядов, состоявших на службе у итальянских государей эпохи Возрождения. В Музее изящных искусств находились (и ныне находятся) копии со статуй кондотьеров работы скульпторов Донателло и Верроккьо.

<sup>71</sup> Летом 1919 г. Южный фронт стал решающим направлением гражданской войны (лозунг — «Все на борьбу с Деникиным!»). В октябре войска фронта перешли в наступление, в декабре заняли Харьков и Киев, в январе 1920 г. освободили Донбасс и в марте завершили разгром армий Деникина на Северном Кавказе.

<sup>72</sup> В октябре 1919 г. на Восточном фронте части Красной Армии перешли в наступление против Колчака на р. Тобол. 14 ноября был освобожден Омск, 6 января 1920 г. Красноярск, а 7 марта — Иркутск.

<sup>73</sup> 2 ноября 1919 г. войска Туркестанского фронта начали наступление, в январе 1920 г. заняли Гурьев и Хиву и в феврале, после тяжелого похода по пустыне, вступили в Красноводск.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ

Заворачивая с Зелениной на Большой проспект, Андрей Андреевич Н увидел своего коллегу, профессора Бернацкого, стоящим с книгой в руке и погруженным в чтение у столбика трамвайной остановки. Андрей Андреевич улыбнулся и незамеченным пропел мимо. Действительно, нельзя было выйти на одну из тихих улиц, плохо мощеных, пестреющих буколическими вывесками мелочных лавочек, чтобы не встретить корректнейшего юриста, филолога с тремя ветхозаветными томами под мышкой, доцента, идущего медленно и заглядывающего в окна низких и покосившихся деревянных домов. На этих окнах герань, флаконы из-под духов, пузатые, с красными цветами чайники. Доносится шум швейной машины и запах бедности, на крыше — скворешник, над крышей слабое какое-то, прозрачное небо. И как дешевые квартиры на Петербургской стороне! Но и за них трудно платить! Вчера приходил старший дворник, и третьего дня, и, вероятно, придется опять сегодня вечером. Надо будет взять у Святловского. Нет, у него нельзя. Или аванс на коммерческих курсах? И это, пожалуй, неудобно. Остается все-таки Святловский. И Андрей Андреевич стал думать о своем друге и коллеге. По мере того, как он со всех сторон рассматривал полную фигуру Владимира Владимировича, палка его все жестче постукивала о мерзлые камни и шуба казалась непомерно тяжелой на плечах. Местами тихие улицы, по которым профессор шел к университету, были овеяны ранним теплом, снежные шапки на деревянных заборах, пухлые и чистые наметы отлетевшей выюги издавали тревожный, холодный аромат, какой бывает только в феврале. Самый снег пахнет весной, чуть ли не замороженными фиалками.

У Андрея Андреевича вдруг сжалось сердце. Сколько же он успел задолжать Святловскому? — 3—4 — и теперь еще тысяча рублей, взятая в банке на «Рудина». Всего шесть тысяч. Ту-к, ту-к, ту-к — стучит железный наконечник о голубые ледяные чешуйки, уцелевшие на тротуаре под ломом и дворницкой метлой. Шесть тысяч, и никакой надежды их заплатить! Тридцать три рубля серебром платит ежемесячно университет. Открывается окошечко в большом решетчатом шкафу, оттуда выглядывает мягкий лысый череп кассира, и желтая ручка ловко выкидывает на подоконник три красных билета, три белые новенькие монеты и протягивает обкусанным концом от себя черное перо, уже обмокнутое в лиловые казенные чернила. «Прошу расписаться», — и в ведомости против «История политических учений» тяпается многоточие и маленькая цифра, выписанная с насмешливой аккуратностью. А выше и ниже — оклады кафедр, занимаемых статскими, действительными и даже тайными советниками, цифры с веселыми нулями, как бы подбоченившимися своей запятой, единицы, крепкие и прямые, отдающие честь науке, пятерки с легким румянцем и приятной полнотой, свойственной тысячам. Были у профессора и другие заработки, и прежде всего, частные коммерческие курсы Яроцкого. Ему приятно было о них вспомнить. Будущие бухгалтеры, счетоводы, клерки и банкиры, готовясь к великому сражению чисел, ценностей и биржевых операций, с увлечением слушали отвлеченную и жестокую науку о праве и государстве. Бедные коммерсанты, им

после лекций Редена <sup>1\*</sup> становилось легче дышать беспощадным воздухом спекулятивных выкладок. Они узнавали, что, кроме фикций биржи, есть еще более бессмысленные, отвлеченные и вечные призраки <sup>2\*</sup>, которым человечество неизменно верит и служит. Легкий скепсис и покой сообщался слушателям. Над величественным куполом Биржи они прозревали другие своды, грубо сколоченные и безобразные, целое искусственное небо <sup>3\*</sup> политики и <sup>4\*</sup> прогресса.

Но как ни любили коммерсанты своего разоблачителя, открывавшего им кусок правды, прежде чем они успевали броситься в свалку, гонимые смутной надеждой завоевать жизнь и выиграть сакримальные двести тысяч, которых никогда и нигде не выигрывали бедняки,— платили они за его мудрое и горькое знание очень немногого. Ото всех идеалистических цветков, которые Роден терпеливо и любовно обливал лимонной кислотой чистого знания, Яроцкий отчислял ему 80 рублей. «Тридцать три и восемьдесят»,— прикинул Андрей Андреевич, выходя к Тучкову мосту. Здесь праздный гуляка, крепкий морозный ветер с Невы, на время рассеял мрачные соображения. Желтый Биронов замок словно примешивает охру своих квадратных стен к серовато-синему, тоже старинному, петербургскому небу. И здания помнят на этом деревянном мосту рослого Петра, идущего против ветра, наклонив стан, придерживая рукой трехуголку, скрипя башмаками с пряжками по хрусткому снегу, к которому примешиваются смолистые стружки новых досок, тоже уже избитых и оскорбленных тугими, тяжкими копытами ломовых коней. Рядом с Андреем Андреевичем шел, натужившись и задыхаясь, жеребец-тяжеловоз, весь в инее, в поту, окруженный хлопаньем бича и руганью. С ухаба на ухаб ползли за него напряженными, дрожащими от натуги ногами широкие сани с горой играющего, свежевыколотого льда. За этими санями, мотая подстриженной, блестяще-черной головой, нестерпеливо теснился рысак, впряженный в легонькие сани. Седока не видно было за широчайшим ватным задом кучера. Затем с Андреем Андреевичем поравнялась его полная, сутулая спина, укутанная пухлой шубой, курносое лицо в светлой заиндевелой бороде и стопка книг, прикрытая нарядной полостью.

— Андрей Андреевич!

Р. остановился и узнал Святловского.

— Вы в университете? Да? Ну, едемте вместе.— Святловский подвинулся на кокетливо-узком сидении. Рудин сел боком, очень неудобно, и они поехали.

## ПРИЛОЖЕНИЕ II

Всякому доброму скептику обязательно нужен друг-идеалист, не очень умный, не очень убедительный, но достаточно добрый и теплый, чтобы от времени до времени погреть на огоньке чужой веры свои пальцы, застуженные атеистическим морозом. Никакой черт не существует без доверчивой и плоской грелки; не обошелся без нее и Веселовский, большой любитель бескорыстия и скромности в своих ближних.

Сидя в кресле, без камергерского мундира и без воротничка, шумно потягивая кофе из малюсенькой чашечки, он с удовольствием созерцал Козлика <sup>1</sup>, своего друга и библиотекаря. В своей душе он чувствовал несомненно пакостный осадок, все усилившавшийся в течение дня: представлялись беловатые глазки секретаря, приносившего на подпись несколько особо секретных бумаг, присланных из министерства внутренних дел. Ничего особенного, но так неприятно подумать, что иные автографы могут когда-нибудь всплыть, вынырнуть из чернильных пучин канцелярии. Чувствуя сокровенную греховность, Владимир Владимирович находил более чем уместной неоспоримую невинность своей собеседницы. Пучок ее желтых волос, низко зачесанных на крупные уши; прямая грудь, уже увидшая или вообще никогда не существовавшая на девственных ребрах; юбка, заколотая огромной английской булавкой; бедные сапожки курсистки, стертые бесконечными линиями Васильевского острова, длинными коридорами университета и беготней по урокам,— все казалось приятно Веселовскому. Даже несколько кислый, застоявшийся запах Козлика радовал его потревоженную совесть. Попрыскав на руки одеколоном, он окончательно растрогался:

<sup>1\*</sup> Далее фамилия Андрея Андреевича обозначается по-разному: Роден, Рудин.

<sup>2\*</sup> Далее зачеркнуто: Государства

<sup>3\*</sup> Далее зачеркнуто: политической лжи

<sup>4\*</sup> Далее зачеркнуто: истории

— Почитайте мне ваши стихи.

И пока она взволнованно и радостно оскорбляла его балованный слух розами, березами и мимозами, грезами и грозами, пока его комната наполнялась сентиментальными образами гномов, русалок и несчастных узников, снедаемых тоской и насекомыми за чистоту своих политических убеждений, Веселовский все более уважал и любил Козлика. Положительно он готов был преклоняться перед ее бедностью, безобразием и пламенным идеализмом,— ведь есть же такие святые души!

### ПРИЛОЖЕНИЕ III

В ночь под Новый год должен был выйти первый номер — и в Новый год появиться в продаже<sup>2</sup>. Его привезли из типографии завернутым, как новорожденного, и торжественно развернули на столе. На белой, чистой обложке открылась голова Рудина. Вокруг него столпились сотрудники, и никто не хотел говорить: сегодня это был еще их Рудин, неведомый, пришедший в мир со своей капризной и опасной улыбкой, завтра его станут продавать,— словом, из тесного круга он выйдет на улицу, где на него набросится толпа. Узнают ли свои, не покажется ли чужим в предместьях его аристократическая тень, увидят ли действие за его<sup>1\*</sup> насмешливой речью? Но как молод был Рудин в этот день своего второго рождения!

Грин, трезвый, в невероятно высоком и чистом воротничке, который, впрочем, скоро снял и спрятал в карман, грел возле печки, полной трескучего пламени, свое веселое и безобразное лицо. Смелый путешественник, описавший жаркое небо и дикие леса юга из своей комнатки в желтых вонючих ротах и ни разу не видевший в жизни ни одного лица, действительно похожего на то, что ему снилось,— наконец, чувствовал великое успокоение. Сумасшедший, он был среди своих. Целая куча, целый сноп безумцев окружал его так, как брызгущие искры окружали черное, покрытое трепещущим синим пламенем, медленно и неудержимо пылающее дерево. Никого не пугала смелая сжатость его слога. Никто не сомневался в роскошных видениях, которые ему доставляли странные музы — голод и алкоголь. Все видели вместе с ним и океан, и далекие острова, и прекрасных голых мужчин и женщин, населявших эти пределы. Он был<sup>2\*</sup> поэт. Пламенный культ океана, чистого воздуха и чистой любви, возможной раз в жизни, составляли его веру. «Рудин» признал идеализм нищеты и громадный талант Грина. Он погибал медленно, спиваясь все больше и больше: но с тех пор, как в его комнату в первый раз вошла Ариадна, он падал не без сопротивления. Наконец его перо понадобилось, и, сползая вниз, он цеплялся за всякий светлый час, за каждую крылатую минуту, дабы написать еще повесть, еще главу, хоть строчку. Любовь и творчество сделали из агонии Грина дикий и великолепный закат<sup>3\*</sup>.

Блаженствуя перед печкой, купаясь в взрывах смеха, раздававшегося за его спиной, А. А. был уверен, что этой ночью не будет пьян, не услышит ругани своей хозяйки, не найдет на своем ночном пути ненавистные, враждебно закрытые окна и двери чужих домов. Для верности он отдал маме Кате все свои деньги, как только пришел. Отдал и предупредил: «Как бы я вас ни просил — не давайте». — И она обещала — не дать. Грин даже засмеялся от удовольствия — так он был уверен в маминой твердости. От его хриплого, хромого, скачущего веселья пламя пошатнулось в печке: он смеялся отвратительно. Кремков подошел к нему сзади и тоже подставил огню свою циническую, острую, умную мордочку.

— Как смеется писатель Грин? — и он потер руки с загнутыми кверху, странными пальцами.— Как орангутанг, когда насилиует старуху шестидесяти лет.

— И за что я тебя так люблю? Ты скверный, испорченный мальчишка. Прочти мне еще раз про Бальмонта<sup>3</sup>.

Кремков очень легко писал пародии, эпиграммы, гротески. В кусочек кривого зеркала он умешал гигантское безобразие того, над чем смеялся. Для «Рудина» он обезобразил известного поэта, предавшего искусство ради мистики, наводнившего литературные сало-

<sup>1\*</sup> Далее зачеркнуто: разрушительной

<sup>2\*</sup> Далее зачеркнуто: большой

<sup>3\*</sup> Далее зачеркнуто: Косые лучи, падая из-за разорванных обезумевших туч, озаряли трагическим блеском его любимый пейзаж: море, острова и людей лучшей породы

ны шаманизмом<sup>4\*</sup>, привезенным с каких-то экзотических островов. Стихи были хороши, неприличны и прилипчивы: их невозможно было забыть. Еще лучше был сам Кремков, сидящий на корточках, с очень тонкими и яркими губами, красными от огня, в позе сатира, подобравшего под себя копытца, читающего анакреонический стих и почесывающего беспокойными рожками лохматый бок старого и благодушного пьяницы.

- Ал. Ал., я влюблена.
- Знаю, батюшка.
- А она меня любит?
- Она никого не любит, тем и хороша.
- А может быть...
- Не может быть.

Сатир заскучал и умолк.

— Ты глуп.— Грин рассердился.— У тебя славная девочка для любви.

Он посмотрел на Рахиль, на ее курносое лицо с румянцем, точно нарисованным на щеках, с неправильными пикантными бровями. Она сидела на диване, подобрав ножки, и ее темное платье, разрезанное на плечах, голые руки, голая шея, кусочки горячих голых плеч придавали ей вид нищенки, такой доступной и осаждательной под кучей лохмотьев. При каждом вздохе видна была ее прекрасная юношеская грудь, и одежда, укрепленная двумя небрежными застежками, точно собиралась с нее соскочить. Она сидела голая, подвижная, яркая и влюбленная. Большой Ursic держался возле нее нежно и терпеливо, как человек, которому на плечи собирается вспрыгнуть кошка.

— Будь счастлив, маленький язычник.— Грин погладил его по голове.— Раз нет уже древних лесов, бегай на лекции. Бегай со своей женщиной, которая очень достойна солнечного света, затраченного на ее персиковую кожу. Пиши стихи, ты молод, все остальное вздор. А, впрочем, давай поцелуемся, раз уж сегодня такой чудный вечер.

Но Кремков скосил глаза, взвигнулся, подскочил на месте, причем из-за фаллуса мелькнул пушистый, круто вздернутый козлиный хвостик, и побежал к Ариадне, чтобы рассыпать целую кучу колючих, невероятных, молодых глупостей. Михаил Андреевич поспорил с Сильванским о вечевом праве XIII века, они увлеклись, и каждый ссылался на великую<sup>5\*</sup> юриспруденцию. Она же стояла между ними в своей черной судейской мантии<sup>6\*</sup>, лгала то одному, то другому светлыми, серьезными глазами, исподтишка хихикая в широкий докторский рукав, из которогосыпались на ученых лягушки и неправда, как свежие гирлянды из подола пляшущей цветочницы. Наконец, профессора заметили, что оба обмануты своей легкомысленной наукой, и пошли смотреть «Рудина». Там, на первой странице был памфлет «О русской конституции», подписанный неуклюжим именем, и рядом с ним другой, посвященный университету<sup>4</sup>. Оба были написаны так, как пишут старики, над которыми невластина старость<sup>7\*</sup>. Теории, выношенные в течение десятилетий, высказывались в форме шутки, удары, направленные против идей, защищенных штампом, наносились тоже с улыбкой — и только много спустя тот, кого ранили эти тонкие, невинно сверкающие жала, с ужасом ощущал в самом сердце сатирический яд, которым они были отравлены. Екатерина Александровна в белом кружевном чепце, в свежих крахмальных рюшах, в которых терялись две насмешливых складки ее щек, тоже держала в руках свежий номер. Глаза ее бегали по строчкам, меняя выражение, и рука с поднятым кверху пальцем делала такие движения, точно она угрожала и негодной конституции, и толстому декану, и Бальмонту, — всем. Молодые люди стояли вокруг нее, визжали и неистово радовались. Многие из них печатались впервые, и подвижное лицо Екатерины Александровны было первое, на котором они читали свою победу. Каждый должен был сам прочесть вслух свое произведение — его слушали с блестящими глазами, и, наконец, когда последний герой слез с дивана, счастливый, пьяный предчувствием славы, комкая в руке первый номер, восторг сделался общим.

Лис, как присяжный мистик, был наряжен в знаменитую зеленую скатерть и стал первосвященником во главе процессии. За ним Кремков и Ариадна с прыжками и поклонами. Рахиль несли на руках художники, как телесное воплощение своего искусства. Она

<sup>4\*</sup> Далее зачеркнуто: символизма

<sup>5\*</sup> Далее зачеркнуто: и легкомысленную

<sup>6\*</sup> Далее зачеркнуто: в парике, из-под которого лукаво смеялось лицо уличной девчонки

<sup>7\*</sup> Далее зачеркнуто: — с величайшим ядом, с обдуманным бесстрашием и умом

дергала их за волосы и болтала в воздухе ножками. Перед каждой вещью они останавливались и благодарили ее за долголетнюю службу, за терпение в бедности, за честное исполнение своих обязанностей. Теперь все изменится — комоду обещали замок, вместо старой, расщепленной дыры полам будут ковры, письменному столу настоящие ноги вместе скрипучих перекладин, — словом, вещи кланялись бы, если бы могли, и говорили бы по-человечески. В кухне «Рудин» был поднесен к самому носу разъеденного жаром корыта для стирки, проглотившего столько дней Екатерины Александровны, — оно заскрипело от удивления в своих ржавых обруках.

Наконец, общей радости стало тесно в четырех стенах.

— Господа, до Нового года еще 3 часа. Идемте на Острова!

Там есть аллея, на Островах. От моста, перекинутого через Неву между старинным театром Екатерины, нынче заколоченным, к Столыпинскому дворцу, она по берегу сворачивает налево. Деревья здесь старые и высокие, сильнее других защищенные от морского ветра всем Елагиным парком.

Набережная всегда светла, и, когда из-за угла темной улицы вдруг выступает вся державная ширина, полная ветра, студеная, день кажется особым и кажется, что сейчас из света, выюги и пустынного пространства выступит неожиданное, то, к чему стремится целая жизнь своими неслышными, быстрыми днями. Когда Ариадна еще маленькой девочкой бегала от университета в гимназию, ей становилось необычайно весело. Она вскidyвала чуб русых волос, ступала прямо, обязательно по середине каменных плит, а иногда, если в ранний час не было прохожих, то, раскинув руки, как воображаемые крылья, с воинственным криком, подражая чайкам, неслась вдоль Невы. Ветер свистел в ушах, отчего ее тоненькие ножки танцевали еще легче.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Козлик — Сусанна Альфонсовна Укше, в 1915—1916 гг. студентка Психоневрологического института, секретарь В. В. Святловского; давала уроки иностранных языков Л. Рейснер и ее брату и стала другом их семьи. В 1929—1930 гг. входила в состав редакции неосуществленного собрания сочинений Рейснер. Автобиография Укше сохранилась в архиве Рейснер (ГБЛ, ф. 245, 11.24).

<sup>2</sup> В действительности первый номер «Рудина» вышел в ноябре 1915 г.

<sup>3</sup> В первом номере «Рудина» был напечатан памфlet М. А. Рейснера ( псевд.— «Марин») «Бальмонт шаманит»; в нем высмеивалась лекция Бальмонта «Поэзия как волшебство». Там же была помещена карикатура Топикова на Бальмента и пародия на его стихи, автором которой был С. М. Кремков, один из основных сотрудников «Рудина».

<sup>4</sup> Памфlet «О русской конституции» в «Рудине» не появлялся. Памфlet, «посвященный университету», — по-видимому, памфlet М. А. Рейснера «О выведенном яйце или один из многих (...)» (1916, № 5; псевд. — «И. Смирнов»). Изображая бессмыслицу процедуру защиты диссертации, автор по сути издевается над всей официальной наукой. Памфlet сопровождался карикатурой Топикова.